

Российская Академия наук
Институт философии
Центр философских проблем российского реформаторства

А.А. Кара-Мурза

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Очерки о русских политических мыслителях

XIX—XX вв.

Александр Герцен, Борис Чичерин, Иван Аксаков,
Николай Хомяков, Павел Милуков, Александр Корнилов,
Иван Алексинский, Петр Струве, Михаил Осоргин,
Семен Португейс, Георгий Федотов, Владимир Вейдле

Москва
2006

УДК 14
ББК 87.3
К 21

В авторской редакции

Рецензенты

кандидат филос. наук *В.П. Первалов*

доктор полит. наук *М.М. Федорова*

К 21 **Кара-Мурза А.А.** Интеллектуальные портреты: Очерки о русских политических мыслителях XIX–XX вв. — М., 2006. — 180 с.

Книга известного философа и политолога, доктора философских наук А.А. Кара-Мурзы представляет собой сборник оригинальных интеллектуальных биографий крупных политических мыслителей России XIX–XX вв. — Александра Герцена, Бориса Чичерина, Ивана Аксакова, Николая Хомякова, Павла Милюкова, Александра Корнилова, Петра Струве, Михаила Осоргина, Георгия Федотова, Владимира Вейдле, Семена Португейса. Важной задачей автора является выстраивание «интеллектуальной родословной» либерально-центристской (либерально-консервативной) традиции в истории русской политической и философской мысли.

ISBN 5-9540-0061-1

© Кара-Мурза А.А., 2006
© ИФ РАН, 2006

ПРЕДИСЛОВИЕ

Подбор персонажей для этого сборника «интеллектуальных портретов» может показаться читателю достаточно произвольным. Действительно, главное, что их объединяет, — это самоощущение некоего сродства с ними самого автора книги.

Вот уже несколько поколений отечественных историков и политологов считают себя поклонниками таланта Александра Ивановича Герцена. В отношении себя я понял это еще в школьные годы: поразительные по аналитической глубине и публицистическому блеску тексты Герцена были тогда среди немногих добротных источников политико-исторического самообразования.

Гораздо позже, в самом начале 1990-х гг., работая в парижских библиотеках и архивах, мне удалось прочесть и даже копировать большую часть из написанного в эмиграции Георгием Петровичем Федотовым и Владимиром Васильевичем Вейдле — тогда еще мало известным на родине. С тех пор их идеи прочно вошли в мировосприятие автора, также причисляющего себя к категории «русских европейцев».

Жизненные судьбы Павла Николаевича Милокова и Александра Александровича Корнилова, крупнейших русских историков и политиков, продолжают оставаться своеобразным «вызовом» для каждого, кто пытается совмещать работу ученого, либерального теоретика и — одновременно — политического практика. Мое отношение к сделанному ими в науке и политике периодически корректируется в связи с непростыми перипетиями нашей политической повседневности.

С некоторыми из персонажей этой книги меня еще больше сблизила историко-просветительская работа Фонда «Русское либеральное наследие», президентом которого я в последние годы являюсь. Благодаря нашим усилиям, в России есть теперь мемориалы Г.П. Федотову в Саратове, В.В. Вейдле в Перми, А.А. Корнилову в Иркутске, а также Николаю Алексеевичу Хомякову в Смоленске (его забытую могилу мне недавно удалось разыскать на православном кладбище в хорватском Дубровнике). А на фасаде ставшего мне родным здания Института философии Академии наук (когда-то — усадьбы князей Голицыных) теперь есть памятные доски жившим и работавшим здесь Ивану Сергеевичу Аксакову и Борису Николаевичу Чичерину.

Что касается Петра Бернгардовича Струве и Михаила Андреевича Осоргина, то, проникая в их творчество все глубже, я стараюсь не пропускать регулярные научные конференции в Перми, посвященные памяти этих выдающихся россиян — политика и литератора. И всякий раз кладу цветы к их скромным мемориалам.

Еще о двух героях сборника — Иване Павловиче Алексинском и Семене Осиповиче Португейсе — следует сказать особо. Так получилось, что, заинтересовавшись когда-то их необычайной судьбой и оригинальными идеями, мне довелось фактически открыть для российских читателей эти имена. Уверен, придет время, когда и они будут увековечены.

В какой-то момент я наконец понял, что же еще так укрепляет мое душевное сродство с большинством персонажей этой книги — это наша общая любовь к Италии. В написанном мной четырехтомнике «Знаменитые русские об Италии» многие страницы посвящены пребыванию в этой стране ее поклонников и знатоков — Герцена, Осоргина, Вейдле. А в новом, готовящемся к печати расширенном издании появятся еще и очерки об итальянских впечатлениях Чичерина, Аксакова, Милюкова. Манящей загадкой остается для меня тема «Г.П.Федотов и Италия»: итальянист по образованию, Федотов много странствовал по Италии еще в годы своей первой, юношеской, эмиграции, однако достоверных документов на этот счет найти пока не удалось.

Судьба была не очень благосклонна к героям представленных очерков. Александр Герцен, Павел Милюков, Петр Струве, Михаил Осоргин, Владимир Вейдле скончались и похоронены во Франции; Георгий Федотов и Семен Португейс — в США; Иван Алексинский — в Марокко. Семейный склеп Чичериных в их тамбовском имении был варварски разорен советскими искателями «дворянских кладов»; фактически забыты потомками могилы Ивана Аксакова в Москве и Александра Корнилова в Петербурге...

Однако историческая память постепенно возвращается к стране, давшей жизнь политическим мыслителям, столь непохожим друг на друга, но столь нужным современной России. Скромным вкладом в этот благотворный процесс является настоящая книга.

*Алексей Кара-Мурза,
лето 2006 г.*

**АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН:
«Процесс обновления неразрывно идет с процессом гниения, и
который возьмет верх — неизвестно...»**

Предисловие

В свое время большевистские пропагандисты немало преуспели в том, чтобы записать русское свободомыслие XIX века в собственную, коммунистическую родословную. Декабристы, Герцен, демократическое разночинство — все это, оказывается, было лишь необходимым прологом к появлению ленинского, а затем сталинского большевизма. Следует признать, что это было неглупо задумано и с усердием реализовано. Последствия подобной фальсификации ощущаются и сегодня: многие, относящие себя к либералам, к примеру, до сих пор с некоторым подозрением относятся к Герцену, смутно припоминая (вероятно, из школьного курса) его критичный взгляд на современную ему Европу, а также приверженность некоей «русской общинности». Пора, наконец, признать, что *политическая* реабилитация жертв большевизма, при всей своей непоследовательности и неполноте, все же значительно опередила у нас процесс *интеллектуальной* реабилитации тех, чьи убеждения, вера, борьба были противоправно искажены коммунистическим агитпропом и встроены в контекст чуждой большевистской традиции. И одним из первых в ряду тех, кто нуждается в подобной реабилитации, стоит Александр Иванович Герцен — выдающийся мыслитель, политик и публицист.

А.И.Герцен родился 6 апреля 1812 г. в Москве. Он был внебрачным сыном богатого помещика Ивана Александровича Яковлева и немки Луизы Гаг, которую отец Герцена, возвращаясь после многолетнего путешествия по Европе, взял с собою в Москву. В 1833 г. Александр Герцен окончил Московский университет со степенью кандидата и серебряной медалью. В следующем году за участие в молодеж-

ных кружках был арестован; девять месяцев провел в тюрьме, после чего, по его воспоминаниям, «нам прочли, как дурную шутку, приговор к смерти, а затем объявили, что, движимый столь характерной для него, невольной добротой, император повелел применить к нам лишь меру исправительную, в форме ссылки...».

Ссылку Герцен отбывал в Перми, Вятке, Владимире и Новгороде. В 1842–1847 гг. жил в Москве, где занимался литературной деятельностью. С 1847 г. – в эмиграции. Скончался А.И.Герцен в Париже от пневмонии 21 января 1870 г., не дожив до пятидесяти восьми лет. Похоронен в Ницце, рядом с рано умершей женой Н.А.Захарьиной.

Европа или не-Европа?

Еще в ранней работе «Двадцать осьмое января» (1833) молодой Герцен задавался ключевым для цивилизационной идентификации России вопросом: «Принадлежат ли славяне к Европе?» и недвусмысленно отвечал: «Нам кажется, что принадлежат, ибо они на нее имеют равное право со всеми племенами, приходившими окончить насильственной смертью дряхлый Рим и терзать в агонии находившуюся Византию; ибо они связаны с нею ее мощной связью – христианством; ибо они распространились в ней от Азии до Скандинавии и Венеции...».

Но далее с необходимостью вставал другой вопрос: если существует славяно-европейское генетическое сродство, откуда так велико и разительно различие между наличной Россией и Европой? В той же работе 1833 г. Герцен развивает мысль о том, что дело – в существенном отставании во времени, обусловленном не только неблагоприятными факторами развития России, но и чрезвычайно благоприятными факторами развития Европы. Среди последних Герцен, находившийся тогда под влиянием классической немецкой диалектики, особо выделял то обстоятельство, что, в отличие от России, развитие Европы протекало в условиях столкновения многообразных противоречий, которые и «высекали искры прогресса»: «Доселе развитие Европы была непрерывная борьба варваров с Римом, пап с императорами, победителей с побежденными, феодалов с народом, царей с феодалами, с коммунами, с народами, наконец, собственников с немущими. Но человечество и должно находиться в борьбе, доколе оно не разовьется, не будет жить полною жизнью, не взойдет в фазу человеческую, в фазу гармонии, или должно почтить в самом себе как мистический Восток. В этой борьбе родилось среднее состояние, вы-

ражающее начало слития противоположных начал, — просвещение, европеизм...». Итак, только в борьбе противоречий и складывается прогресс, просвещение, европеизм, развитая цивилизация.

Двойственность России, таким образом, состояла в том, что, будучи по происхождению частью европейской цивилизации, она, лишенная исторического динамизма, «сложившаяся туго и поздно», не развилась в Европу. В силу особенностей своего географического положения («огромное растяжение по земле») и истории Россия была более склонна к «восточному созерцательному мистицизму» и «азиатской стоячести»: «В удельной системе не было ни оппозиции общин, ни оппозиции владельцев государю... Двухвековое иго татар способствовало России сплавить в одно целое, но снова не произвело оппозиции. Основалось самодержавие — а оппозиции все не было...».

Эту же мысль об односторонности и дефицитности продуктивного противоречия в русской жизни Герцен впоследствии разовьет в работе «О развитии революционных идей в России» (1851): «В славянском характере есть что-то женственное; этой умной, крепкой расе, богато одаренной разнообразными способностями, не хватает инициативы и энергии. Славянской натуре как будто недостает чего-то, чтобы самой пробудиться, она как бы ждет толчка извне...».

Петр Великий — «варвар-просветитель»

Именно здесь находил молодой Герцен разгадку того мощного цивилизационного импульса, который был задан российскому обществу преобразованиями Петра Великого — человека «с наружностью и духом полуварвара», но «гениального и незыблемого в великом намерении приобщить к человеческому развитию страну свою». Гений Петра, по Герцену, заключался именно в том, что он впервые *породил в России оппозицию* — ...в своем собственном лице: «Явился Петр! Стал в оппозицию с народом, выразил собою Европу, задал себе задачу перенести европеизм в Россию и на разрешение ее посвятил жизнь».

Бесспорная заслуга Петра Великого, согласно Герцену, состояла в честном осознании бесперспективности косной московской Руси, в понимании необходимости ее «очеловеченья»: «В этом невежественном, тупом и равнодушном обществе не чувствовалось ничего человеческого. Необходимо было выйти из этого состояния или же сгнить, не достигнув зрелости...».

Принято считать, что Герцен долгое время был в России одним из лидеров «западнической партии». Но, как представляется, изначально выбор в пользу «западничества» был для него не столько рычагом односторонней и тотальной победы над «самобытниками», сколько способом наиболее результативного решения проблемы продуктивного синтеза в России «новации» и «традиции». Ведь не зря Герцен неоднократно подчеркивал двуединство комплекса «западничество-славянофильство» и то глубинно-общее, что объединяло «друзей-недрузгов»: «Головы смотрели в разные стороны — сердце билось одно...».

По всей видимости, раннего Герцена не устраивала в «славянофильстве» вовсе не защита «традиции» как таковой, а неконструктивность упора на реанимацию порушенной и к тому же мифологизированной традиции, неспособность славянофилов продуктивно разрешить потенциально живительное противоречие «традиция-новация». Западник Герцен и сам не утаивал свою основную претензию к славянофильству: он видел в нем скорее «инстинкт» и «оскорбленное народное чувство», нежели полноценное «учение», и уж тем более «теорию». Поэтому и «западничество» для Герцена имело смысл не столько как партия, добивающаяся одностороннего выигрыша, но как более осмысленный (т.е. рациональный), чем у славянофилов, путь к достижению продуктивной интегральной формулы в конфликте традиции и новации. Ведь изначальная посылка русских западников, по мнению Герцена, исторически бесспорна: «Кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей». А потому более осмысленна и плодотворна и конечная цель «европейцев»: «Европейцы... не хотели менять ошейник немецкого рабства на православно-славянский, они хотели освободиться от всех возможных ошейников».

Поэтому уже у молодого Герцена резко вычерчивается и критическая по отношению к Петру-реформатору линия: петровская практика «варварской борьбы против варварства» не в состоянии была обеспечить исковой «человеческой вольности». Насильственное озападничество, европеизация *«из-под кнута»* ведет, по Герцену, не к свободе, а к утрате последних остатков русской свободы: «Гнет, не опирающийся на прошедшем, революционный и тиранический, опережающий страну, — для того чтоб не давать ей развиваться вольно, а из-под кнута, — европеизм в наружности и совершенное отсутствие человечности внутри — таков характер современный, идущий от Петра».

Отсюда вывод: насильственное насаждение на Руси Европы не привело к европейскому результату — свободе личности. Как ранее «азиатская» безальтернативность давила русского человека, так и ныне

реформаторская «безальтернативность», убившая потенциал живого диалога нового со старым, также парализовала становление российской личности.

О вырождении петровского наследства

Но если Петр все-таки затеял с Россией сложнейший культурный эксперимент с определенными шансами на выигрыш, то его менее талантливые и творческие преемники быстро растранижили петровское наследство. Вместо насилия во имя все-таки просвещения от петровского замысла осталось голое, бессмысленное насилие. В работе «Молодая и старая Россия» (1862) Герцен констатирует окончательное вырождение послепетровской государственности — не только в годы «николаевщины», но и «александровских метаний»: «В Петербурге террор, самый опасный и бессмысленный из всех, террор оторопелой трусости, террор не львиный, а телячий... Неурядица в России и лихорадочное волнение идет оттого, что правительство хватается за все и ничего не выполняет, что оно дразнит все святые стремления человека и не удовлетворяет ни одному, что оно будит — и бьет по голове проснувшихся».

Вопреки распространенному мнению о том, что Россия — страна по природе своей предельно консервативная, Герцен был одним из первых, кто заметил, что беда России, напротив, в практическом *отсутствии культурного консерватизма* в точном смысле слова. «Нельзя говорить серьезно о консерватизме в России, — писал он. — Мы можем стоять, не трогаясь с места, подобно святому столпнику, или же пятиться назад подобно раку, но мы не можем быть консерваторами, ибо нам нечего хранить». Сама российская государственность предстает у Герцена не оплотом традиции, а разнородным и полным противоречий «разностильным зданием» — «без архитектуры, без единства, без корней, без принципов»: «Смесь реакции и революции, готовая и прoderжаться долго и на завтра же превратиться в развалины».

Путь в Европу: искушения и ловушки

Нестандартность мышления Герцена состояла в том, что он — безусловный европеист по культуре — не страшился указывать на издержки и опасные следствия принудительной и потому поверхностной европеизации России.

Отход Герцена от прямолинейного западничества не означал перехода в славянофильский лагерь. В отличие от славянофилов Герцен до конца остался резким критиком допетровской Руси. Главным критерием его оценок оставался все тот же — наличие в обществе «свободы лица». «У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить, — писал Герцен в работе «С того берега» (1849). — Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине». Еще энергичнее описал Герцен косность древней Московии в работе «О развитии революционных идей в России» (1850): «Нельзя не отступить в ужасе перед этой удушливой общественной атмосферой, перед картиной этих нравов, являвшихся лишь безвкусной пародией на нравы Восточной империи».

Но и петровское насаждение сверху европейских порядков не привело в России к существенному расширению личностной свободы: «Все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из муниципально-свободной Голландии в страну общинно-самодержавную, все было перенесено; но неписанное, нравственно обуздывающее власть, *инстинктуальное* признание прав лица, прав мысли, истины не могло перейти и не перешло». Герцен формулирует знаменитый парадокс, который потом очень часто использовался русскими антизападниками, но который свидетельствует лишь о последовательном либерализме Герцена, ставящего «человечность» выше формальной принадлежности к западной партии. «Рабство, — писал Герцен, — у нас увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо». Человеческая личность в России, согласно Герцену, оказалась стиснутой двумя формами несвободы — принудительной азиатчиной старой Московии и принудительным же европеизмом послепетровской России: «Кнутом и татарами нас держали в невежестве, топором и немцами нас просвещали, и в обоих случаях рвали нам ноздри и клеймили железом».

В какой Европе разочаровался Герцен?

В огромной литературе о Герцене ключевым моментом эволюции его политических взглядов неизменно считается «*разочарование в Европе*». Что же так неприятно поразило при встрече с реальной Европой западника Герцена? В работе «Концы и начала» (1862) он

сам написал об этом, и его умонастроение выдает в нем несомненно-го либерала: «Я с ужасом, смешанным с отвращением, смотрел на беспрестаннодвигающуюся, кишашую толпу, предчувствуя, как она у меня отнимет полместа в театре, в дилижансе, как она бросится зверем в вагоны, как нагреет и насытит собою воздух... Люди, как товар, становились чем-то гуртовым, оптовым, дюжинным, дешевле, плоше врозь, но многочисленнее и сильнее в массе. Индивидуальности терялись, как брызги водопада, в общем потоке». По существу Герцен уловил первые дуновения *грядущих тоталитарных форм* общества, возросших там, где европейские принципы свободы утрачивали свой иммунитет перед натиском «массового общества». Его размышления, кстати, были созвучны опасениям самих европейских либералов, например, современника Герцена — Джона Стюарта Милля. В своем знаменитом эссе «О свободе» Милль приходит к выводу о том, что в развитии каждого европейского народа, похоже, «есть предел, после которого он останавливается и делается Китаем». Культурное упрощение Европы, жизнь, заполненная не творческими стремлениями, а «пустыми интересами», приводит, согласно и Миллю, и Герцену, к «*новой китайщине*». Мешанская цивилизация, утрачивая быллой импульс к развитию, может привести к полному стиранию человеческого лица, к всеобщей нивелировке, наподобие старой «азиатчины».

По сути дела Герцен стал одним из первых европейских мыслителей, кто, задолго до Х.Ортеги-и-Гассета, Э.Фромма и Х.Арендт, подверг критике те явления, которые позднее были названы «*бегством от свободы*» и торжество которых породило в конечном счете европейские формы авторитаризма и тоталитаризма. Оказалось, быть европеистом — это не означает безудержно восхвалять «любую Европу». Ответственный европеизм — это в большой степени критика наличной Европы с позиций фундаментальных культурных первооснов Европы и в первую очередь — с позиции принципов «свободы лица» и личного достоинства.

Сам Герцен отлично понимал, что его постепенно накапливающееся критическое отношение к Западу может сыграть на руку противникам русского европеизма, но интеллектуальная честность была для него превыше всего: «Я знаю, что мое воззрение на Европу встретит у нас дурной прием. Мы, для утешения себя, хотим другой Европы и верим в нее так, как христиане верят в рай. Разрушать мечты вообще дело неприятное, но меня заставляет какая-то внутренняя сила, которой я не могу победить, высказывать истину — даже в тех случаях, когда она мне вредна». Герцен, однако, до конца жизни продолжал ценить Европу именно за это — за возможность *свободно вы-*

сказывать истину. Еще в начале эмиграции, в 1849 г., он писал друзьям о том, почему сознательно выбирает Европу: «Не радость, не рассеяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь... Остаюсь затем, что борьба — *здесь*, что несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но *гласны*, борьба открытая, никто не прячется... За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь...». И далее Герцен формулирует принцип, который он пронес через всю жизнь и который позволяет говорить о его несомненной приверженности либеральной идее: «Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе».

Между либерализмом и демократией

Герцен принципиальным образом различал «демократию» и «мещанство». Известные претензии Герцена — либерала и демократа одновременно — к либералам-охранителям сводились к тому, что те оказались не готовы к демократизации своих либеральных убеждений и фактически потакали «омещаниванию» и «новой китайской стоячести». Да, полагал Герцен, были времена, когда претензию на свободу личности высказывало лишь образованное меньшинство, и либеральный аристократизм был тогда естествен и оправдан: «Я не моралист и не сентиментальный человек; мне кажется, если меньшинству было действительно хорошо и привольно, если большинство молчало, то эта форма жизни в прошедшем оправдана. Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтобы сделать возможным Гёте, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина». Но защитники привилегий узкого меньшинства (в том числе и на свободу) оказались в тупике и смятении, когда на авансцену истории явился — «не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованиях, а на самом деле» — «работник с черными руками, голодный и едва одетый рублищем. Этот “несчастный, обделенный брат”, о котором столько говорили, которого так жалели, спросил, наконец, где же *его* доля во всех благах, в чем *его* свобода, *его* равенство, *его* братство...».

Герцен, не оставляя своих либеральных убеждений (их основа, по прежнему, — «свобода лица»), был готов принять этот вызов демократизма — его идеалом общественного служения всегда были «политические Дон-Кихоты» типа Дж.Гарибальди и Дж.Мадзини.

Между тем русские оппоненты Герцена — либералы-государственники К.Д.Кавелин, Б.Н.Чичерин и др. — предпочли охранение элитарных свобод, теперь уже не только от самовластья верхов, но и от посягательств проснувшихся низов. Результат этого спора внутри либерального лагеря известен — в России не удалось удержать ни демократии, ни либерализма.

Социализм против «азиатчины»

Социализм Герцена, как он его понимал, — это способ сбережения «свободы лица», форма защиты цивилизации от наступления «новой китайщины». Очень характерно, что во многих работах Герцен ставит «русский социализм» в один ряд с «американской моделью». Он неоднократно высказывает мысль, что для своего спасения европейская цивилизация должна получить новый импульс со стороны молодых, свежих наций: «Мы ничего не пророчим; но мы не думаем также, что судьбы человека пригвождены к Западной Европе. Если Европе не удастся подняться путем общественного преобразования, то преобразуются иные страны; есть среди них и такие, которые уже готовы к этому движению, другие к нему готовятся». Для Герцена было несомненно, что одна из этих молодых наций, которой принадлежит будущее, — это Северо-Американские Штаты; другой, возможно, станет Россия — «полная сил, но вместе и дикости».

Итак, разочаровавшийся в современной ему Европе, Герцен все не отказывается от принципов «свободы лица», как хотели представить дело его антизападнические, в том числе большевистские, интерпретаторы. Герцен оказывается вовлечен в общеевропейский кризис жизни и сознания, и он, вместе с западными мыслителями, настойчиво ищет пути выхода, ибо, по его глубокому убеждению, исход борьбы «старого европеизма» и «новой китайщины» еще вовсе не предрешен. Спасти личностное начало или окончательно утратить его — процесс вероятностный, и Герцен неоднократно подчеркивает, что все зависит от способности свободных личностей противостоять давлению среды и принудительной нивелировке. Позднее выдающийся русский либеральный мыслитель П.И.Новгородцев особо подчеркивал это достоинство мысли Герцена — приоритет *открытости и вероятностности истории* перед верой в заранее сконструированный общественный идеал. Действительно, Герцен так оценивал состояние и политические перспективы Европы: «Эпоха *линянья*, в которой мы застали западный мир, самая трудная; новая школа едва показы-

вается, а старая окостенела, как у носорога, — там трещина, тут трещина... Это положение между двух шкур необычайно тяжело. Все сильное страдает, все слабое, выбивавшееся на поверхность, портится; процесс обновления неразрывно идет с процессом гниения, и который возьмет верх — неизвестно...». Будучи внимательнейшим аналитиком европейской жизни, Герцен ставил вопрос предельно конкретно: «Вопрос действительно важный, до которого Милль не коснулся, вот в чем: существуют ли всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь?.. А этот вопрос сводится на то, потерпит ли народ, чтоб его окончательно употребили для удобрения почвы новому Китаю и новой Персии... Вопрос этот разрешат события — теоретически его не разрешишь. Если народ сломится, новый Китай и новая Персия неминуемы».

Боль за русского человека

Размышления о судьбе Европы всегда являлись для Герцена выражением боли за те «колоссальные уродства», которым подвергается человеческая личность в России. В работе «С того берега» (1849) эти мотивы звучат особенно отчетливо. Слова Герцена, написанные им полтора века назад, впрочем, абсолютно применимы и по отношению к русскому двадцатому веку, да и к сегодняшним дням — в немалой степени: «Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях; мы изуродовались под безнадежным гнетом и уцелели кой-как... Томимые желанием знать, мы подслушиваем у дверей, стараемся разглядеть в щель... Мудрено ли после этого, что мы не умеем уладить ни внутреннего, ни внешнего быта, лишнее требуем, лишнее жертвуем, пренебрегаем возможным и негодуем за то, что невозможное нами пренебрегает; возмущаемся против естественных условий жизни и покоряемся произвольному вздору...».

В итоге в России, по мысли Герцена, начал доминировать тип «*псевдоевропейцев*» — людей, которых он часто называл «амфибиями» и главными видовыми признаками которых считал неумение ни сохранить русскую традицию, ни усвоить западную цивилизацию. В поздних «Письмах противнику» (1865) Герцен отмечал, что в результате ориентации русского самодержавия на «пруссские образцы», худшие свойства немца приобрели в России гипертрофированное и опасное выражение: «В мешанском мизере немецкой жизни фельдфебельству негде было расправить члены; на русском черноземе благодаря помещичье-

му закалу оно быстро развилось до заколачивания в гроб и до музыки в шпорах». Герцен определял существо правящего класса в России как сращение «немецкого бюрократа» с «византийским евнухом».

Можно ли доверить Россию «новым людям»?

Но столь же опасный тип личности, как и на высших ступенях государственной иерархии, сформировался и в среде русской оппозиции. Горестные оценки изуродованной русской личности с особой силой ставили перед Герценом вопрос: кто же в таких условиях способен в России взять на себя инициативу освобождения? Его очень беспокоил нарождающийся тип человека, в сегодняшнем дне абсолютно лишнего, и именно поэтому часто готового все растоптать в истовом стремлении в «день завтрашний». Герцен называл эту новую породу русских, народившуюся в годы николаевского безвременья, — «желчными людьми», «желчевиками»: «Первое, что нас поразило в них, — злая радость их отрицания и страшная беспощадность... Там, где наш брат останавливался, оттирал, смотрел, нет ли искры жизни, они шли дальше пустырем логической дедукции и легко доходили до тех резких, последних выводов, которые пугают своей радикальной бойкостью. В этих выводах русский вообще пользуется перед европейцем страшным преимуществом — у него нет ни традиции, ни родного, ни привычки». Таким образом, проблема, по Герцену, состояла в том, что новый тип русского оппозиционера — прямой результат ее насильственной, а потому поверхностной и ненадежной европеизации: «Всего безопаснее по опасным дорогам проходит человек, не имеющий ни чужого добра, ни своего. Это освобождение от всего традиционного доставалось не здоровым, юным натурам, а людям, которых душа и сердце были поломаны по всем составам... Чему же удивляться, что юноши, вырвавшиеся из этой пещеры, были юродивые и больные?..» Герцен очень опасался, что именно эти «новые люди», которым в России «*ничего терять*» (абсолютно как марксовому пролетариату) начнут в скором времени определять будущее страны. К несчастью, он не ошибся.

Есть ли спасение?

В каком же направлении Герцен ищет выход из тисков псевдоевропеизации? Его европейская ипостась не приемлет возвращения назад, в допетровскую Московию. Но и идти вперед по дороге, по

которой ведет «цивилизатор с кнутом в руке, с кнутом же в руке преследующий всякое просвещение», Герцен не хочет. И он приходит к нетривиальному выводу: вернуться надо, но не к «диким формам» допетровской Руси, а к ее преображенному *«человеческому содержанию»*. «Возвратиться к селу, к артели работников, к мирской сходке, к казачеству — другое дело; но возвратиться не для того, чтоб их закрепить в неподвижных азиатских кристаллизациях, а для того, чтоб развить, освободить начала, на которых они основаны, очистить от всего наносного, искажающего, от дикого мяса, которым они обросли...». Разница этих выводов зрелого человека с рассуждениями молодого Герцена состоит в том, что на место волевого усилия «царя-реформатора», которого ранний Герцен искренне считал адекватным заменителем европейской Реформации (*«у нас целый переворот, кровавый и ужасный, заменился гением одного человека»*), должна прийти подлинная Реформация, как переосмысление национальных первоисточков — низовой демократии, не покоренной ни «татарством», ни «немтичиной».

Фактически именно русскую Реформацию Герцен и называл «русским социализмом». Но и эту стадию Герцен не считал ни обязательной, ни последней: «Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущею, неизвестною нам революцией... Вечная игра жизни, безжалостная, как смерть, неотразимая, как рождение...». Прав П.И.Новгородцев: «Самую веру в социализм Герцен растворяет в вечном потоке истории».

Общинность как прообраз земства

Только в этом контексте можно понять отношение Герцена к русской общине. Именно в сложности герценовской позиции лежит загадка того факта, что спустя несколько десятилетий деятели русского земского движения смогли с полным правом записать Герцена в ряд родоначальников «либерального земства».

Герцен никогда не идеализировал общину, но и не мог не отметить, что община, при всех ее недостатках и даже пороках, — едва ли не единственный институт, который во всех драматических коллизиях русской истории оказывался способным уберечь остатки «свобо-

ды лица». В работе «Русский народ и социализм» (1851) Герцен перечислял эти несомненные заслуги русской общины в деле сбережения личности от натиска внешних, принудительных форм: «Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хотя и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти...».

А в известных «Письмах Линтону» (1854) Герцен в наиболее четком виде сформулировал те принципы, которые русская община имеет шанс (именно шанс — не более!) реализовать, чтобы обеспечить в конечном счете свободное развитие личности. Главное здесь в том, что община для Герцена — это возможный фундамент «очеловеченной собственности», народного низового самоуправления и представительства — модель, которую затем необходимо распространить на все общество: «Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное самоуправление (self-government) по городам и всему государству, сохраняя народное единство, — вот в чем состоит вопрос о будущем России...».

Герценовский расчет на общинное самоуправление как прообраз будущего *общенационального гражданского общества* оказался несостоятельным. Но это была еще одна попытка ответить на общий вопрос, волнующий русских либералов: как в России пройти между Сциллой Реакции и Харибдой Революции? Как уберечь на этом пути человеческую личность и ее достоинство? «Третий путь» Герцена не был реализован — впрочем, точно так же, как и все иные либеральные предложения.

Что ж, Александр Иванович Герцен был абсолютно русским человеком и, несмотря на собственную гениальность, вполне подпадал под им же самим сформулированные гениальные определения русскости: «Нам хочется алхимии, магии, а жизнь и природа равнодушно идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами...».

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ХОМЯКОВ:
«Так бы и не уезжал из деревни, если бы не эта политика...»

Судьба человека (судьба — в широком смысле) складывается из двух главных составляющих — взаимопереплетающихся, но всегда различимых. Судьба — это, с одной стороны, родовое и семейное наследие, то, что от человека почти никак не зависит. Но, с другой стороны, судьба — это личные поступки и деяния, порожденные свободной волей человека. Каждая личность всегда пребывает в истории и как ее наследник, и как ее творец, и нелегко сказать, что оказывается труднее: соответствовать традиции или преодолевать ее. В любом случае, «звездные часы» в человеческой жизни редки и мимолетны — но именно они определяют в конце концов масштаб и значение личности.

Биографические справочники скупы на информацию о Николае Алексеевиче Хомякове. Родился в 1850 г. в семье известного философа и литератора Алексея Степановича Хомякова. Окончил курс двух факультетов Московского университета — физико-математического и юридического. В 1877 г. избран почетным мировым судьей Сычевского уезда Смоленской губернии, где унаследовал родовое имение Липицы. Пошел добровольцем на турецкую войну; был на перевязочном пункте при Кавказской армии в день штурма Карса. В 1880 г. избран Сычевским уездным предводителем дворянства. Потом, в течение девяти лет — Смоленский губернский предводитель дворянства (избирался на этот пост на три трехлетия — в 1886, 1889 и 1892 гг.). С 1896 по 1902 гг. — Директор департамента земледелия Министерства земледелия и государственных имуществ. Был женат на Наталье Александровне Хомяковой, урожденной Драгиусовой (Драшюсовой), от которой имел трех дочерей и сына. Долгие годы работал гласным Сычевского уездного и Смоленского губернского земства. Один из

лидеров общероссийского земского движения, активный участник земских съездов 1904–1905 гг. В 1905 г. стал одним из основателей партии «Союз 17 Октября»; с 1906 г. член Центрального Комитета партии «октябристов», представитель ее левого – либерального – крыла. В годы русско-японской войны – руководитель общедворянской организации Красного Креста в Москве. В 1906 г. был избран членом Государственного Совета (верхней палаты) от дворянства Смоленской губернии. Депутат II, III и IV Государственных Дум от Смоленской губернии. 1 ноября 1907 г. на первом заседании III Государственной Думы подавляющим большинством голосов избран Председателем Думы и оставался на этом посту почти два с половиной года, до апреля 1910 г., когда вынужден был покинуть председательское кресло в знак протеста против провокационного поведения в Думе ультраправых во главе с Пуришкевичем. В 1913–1915 гг. председатель Петербургского клуба общественных деятелей. В 1918–1920 гг. – участник белого движения: член русской делегации на совещании в Яссах в ноябре 1918 г., затем возглавлял деятельность Общества Красного Креста в Добровольческой армии и Вооруженных Силах Юга России. Эмигрировал через Константинополь в Югославию (Королевство сербов, хорватов и словенцев) и скончался в Дубровнике 28 июня 1925 г. семидесяти пяти лет от роду...

О том, что Николай Алексеевич Хомяков был человеком незаурядным, свидетельствуют авторитетные современники. Очень высоко ценили Н.Хомякова близкие ему по духу Сергей Витте и Петр Столыпин. Уважали его и политические оппоненты. Павел Милюков, редко о ком говоривший доброе слово, характеризовал Хомякова как «культурного и лично порядочного человека». Еще один лидер кадетов, Ариадна Тыркова, писала о нем в мемуарах как о человеке «умном, спокойном, с большим юмором».

Но судьба, как мы знаем, – это не только скупая биография и краткие характеристики современников. Чтобы понять судьбу Николая Хомякова, надо начать с его родового наследия, с его семьи, чья история тесно переплелась с историей других выдающихся российских семей – Грибоедовых, Киреевских, Языковых...

Хомяковы были крупным дворянским родом России, записанным в VI части родословной книги Рязанской губернии. Пращуры Хомяковых с XV в. служили московским государям в качестве ловчих и стряпчих, начиная со времен Василия III. Хомяковы владели именьями в Рязанской, Тульской, Калужской, Московской, Симбирской, Ярославской губерниях. Происхождение большой земельной собственности семьи Хомяковых, а также их демократического и сво-

бодолубивого духа имеют свои истоки. История такова: живший в XVIII в. под Тулой богатый помещик Кирилл Иванович Хомяков, владелец огромного состояния, под старость остался одиноким и не имел прямых наследников. Желая сохранить поместье для рода Хомяковых, он предложил своим крестьянам самим избрать себе барина общим советом на сходке. Крестьянские ходоки, предварительно ознакомившись с возможными претендентами из хомяковского рода, остановили свой выбор на небогатом молодом сержанте Федоре Степановиче Хомякове, который действительно оказался добрым и рачительным хозяином. Так, прапрадед Николая Алексеевича Хомякова стал владельцем значительных поместий в Тульском уезде Рязанской губернии, а также дома в Петербурге. Это семейное предание, по авторитетному мнению философа Николая Бердяева, оказало влияние «на весь дух» рода Хомяковых, определило их отношение к народной жизни, к народной сходке, к происхождению земельной собственности. Хомяковы считали, что земельные богатства переданы им народной сходкой, что они были избраны народом, что именно народ поручил им владеть землей.

Прадед Н.А.Хомякова, Александр Федорович, женился на Наталье Ивановне Грибоедовой, получил в 1776 г. в качестве приданого имение в Сычевском уезде, центром которого было село Липицы (сегодня это Новодугинский район Смоленщины). В последней четверти XVIII в. Липицы были одним из самых значительных имений Хомяковых – в нем насчитывалось почти 400 душ крестьян мужского пола. Там, на высоком северном берегу реки Вазузы, была построена большая усадьба с двумя флигелями и многочисленными хозяйственными постройками. Ближе к реке были разбиты два парка – регулярный и пейзажный, выходившие к двум искусственным прудам. (Главный дом сгорел в 1930 г.) Над самой рекой в 1797 г. по заказу Александра Федоровича Хомякова была построена церковь св. Николая Чудотворца.

Дед Николая Алексеевича Степан Александрович Хомяков был человеком европейски образованным, ярким англоманом, одним из основателей Московского Английского клуба. Он был известен не только как большой эрудит, но и как страстный игрок – проиграл в карты более миллиона рублей. В родовом предании его пример стал символом бренности людского богатства. Помнили в семье и бабушку – Марью Алексеевну, урожденную Киреевскую, – известную в Москве радетельницу патриархальных и православных устоев.

Отец, выдающийся мыслитель-славянофил Алексей Степанович Хомяков, родился в 1804 г. в Москве на Ордынке. Учился и воспитывался в основном дома: в тульском имении Богучарово, в смоленских

Липицах, в Москве и Петербурге (там семья жила зимой 1814–1815 гг., когда отстраивался дом в Москве, на Петровке, рядом с Большим театром, сгоревший во время наполеоновского нашествия).

Сложилось устойчивое полубывательское мнение, что русские славянофилы были людьми по-преимуществу мистическо-созерцательного, нежели практического склада — кем-то, наподобие гончаровского Обломова, в противовес практикам-западникам, этим «русским Штольцам». Между тем в отношении Алексея Степановича Хомякова — это серьезное заблуждение. Его религиозно-философские искания, его увлеченность поэзией, драматургией, искусством сочетались с глубоким бытовым рационализмом, здравым смыслом, точностью и ответственностью. Алексей Степанович окончил физико-математический факультет Московского университета и своё техническое, вполне прикладное образование никогда не забывал. Так в летне-осенние месяцы 1850 г., он, воодушевившись рождением — после череды дочерей — сына «Николеньки», проводил в Богучарове опыты с паровой машиной собственного изобретения. Через год, когда с помощью тульских механиков машина была готова, он послал ее на всемирную выставку в Лондон и получил оттуда патент на изобретение. Известно, что и в 1855 г., переживая крымские поражения русской армии, он с той же решимостью конструировал и испытывал в том же Богучарове новую модель «дальнобойного артиллерийского ружья».

Хомяков-отец с юных лет рвался на военную службу. Еще в 16-летнем возрасте он попытался убежать из дома, чтобы примкнуть к грекам в их борьбе за независимость, но был задержан на московской заставе и возвращен домой. Уже после университета он весной 1822 г. поступил на службу в кирасирский полк, квартировавший под Херсоном; в 1823 г. перевелся в петербургский лейб-гвардии конный полк, где служил эскадрон-юнкером, потом корнетом. В начале 1825 г. вышел в отставку в звании поручика и уехал в Париж, где занимался живописью и литературным сочинительством. Но весной 1828 г., после начала новой войны с турками, он снова вступил на службу штаб-ротмистром в гусарский полк; был личным адъютантом легендарного генерала, командира 3-й гусарской дивизии, князя Валериана Мадатова. Алексей Хомяков принял участие в нескольких сражениях; в одном из них в конной атаке получил ранение в руку и был награжден орденом св. Анны III-й степени (в петлицу). При знаменитой осаде крепости Шумла побился с друзьями об заклад, что поскачет впереди всех к турецкому редуту. Любимый белый конь под ним был убит; сам Хомяков был ранен в ногу. Тогда же он был представлен

командующим к ордену св. Владимира, но получил только Анну с бантом. Впрочем, при увольнении в мае 1830 г. он был таки награжден Владимиром IV-й степени.

Алексей Хомяков был великолепным стрелком (попадал в цель на расстоянии в 50 шагов) и всю последующую жизнь был страстным охотником. Летние месяцы он проводил в Богучарове или Липицах, а зимой жил в Москве, сначала снимая квартиру на Арбате, а затем в собственном (ставшем знаменитым своим литературно-философским салоном) доме на углу Собачьей площадки и Николопесковского переулка. (Там-то и родился в 1850 г. Николай Хомяков.)

5 июля 1836 г. Алексей Степанович Хомяков женился на Екатерине Михайловне Языковой, сестре известного поэта Николая Языкова. Усадьбу Липицы Алексей Хомяков обустроивал специально для жены Екатерины (он звал ее на английский манер – «Kitty») – как любимое их место. Они любили Липицы гораздо больше тульского Богучарова и всех других имений. Вот как Алексей Степанович описывал жене Липицы 19 октября 1842 г.: «Что за погода, как ясно, как тихо, как солнечно! Река замерзает и покрылась почти вся льдом, чистым и прозрачным, как английский хрусталь; солнце днем и месяц ночью так и отливают ее серебром да золотом; а в самой середине бежит струя синяя, синяя, как альпийские озера... Вот бы ты полюбовалась на свои Липицы! Совершенная Грузия!».

Друзья вспоминали об Алексее Хомякове как о выдающемся энциклопедически образованном эрудите и спорщике, – эти качества в немалой мере воплотились потом и в его младшем сыне. Вот что писал о Хомякове-старшем Александр Герцен: «Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения всё на свете – от казуистики византийских богословов до тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли и сбивали с толку».

Еще один друг Хомякова, близкий ему по духу либерал-славянофил Александр Кошелев, писал о феноменальной памяти Алексея Хомякова: «Помню, однажды, отправились мы на вечер к Свербеевым, куда нас пригласили для беседы с одним русским, возвратившимся с Алеутских островов. Шутя, я говорю ему: “Ну, друг Хомяков, придется тебе нынче послушать и помолчать”. В начале вечера действительно Хомяков долго слушал этого заезжего русского, расспрашивал его подробно насчет Алеутских островов, но под конец высказал ему по этому предмету такие сведения и соображения, что путешественнику почти приходилось обратиться оглобли и ехать откуда приехал, для окончательного ознакомления с местами, где он пробыл уже несколько лет...».

Но была и еще одна фигура, которая, помимо родителей, сыграла безусловную роль в судьбе Николая Хомякова. Это – ближайший друг семьи Хомяковых Николай Васильевич Гоголь. Гоголь искренне восхищался Алексеем Степановичем, боготворил Екатерину Михайловну, обожал ее брата – поэта Николая Языкова. Смерть в конце 1846 г. Языкова, с которым Гоголь многие месяцы прожил рядом в немецком Гаштайне и Риме, глубоко ранила писателя. После рождения 19 января 1850 г. в семье Хомяковых сына Николая Гоголь, с трепетной радостью, согласился стать его крестным отцом, а потом регулярно навещал крестника.

Судьба оказалась жестокой и к родителям Н.А.Хомякова, и к его крестному – Гоголю. Летом 1850 г. Алексей Хомяков обронул в богучаровский пруд обручальное кольцо. Пруд он тут же велел вычерпать, но кольцо так и не сыскалось. Екатерина Михайловна посчитала это дурной приметой, очень опасалась за мужа. Но через несколько месяцев беда случилась с ней самой: сначала простуда, потом тифозная горячка и быстрая кончина. Смерть еще одного дорогого человека окончательно надломил Гоголя. 28 января 1852 г., на панихиде по усопшей Гоголь сказал Хомякову: «Всё для меня кончено». На следующий день он не смог прийти на похороны. «С этого времени, – писал лечивший Гоголя врач Тарасенков, – мысль о смерти и о приготовлении себя к ней, кажется, сделались преобладающей его мыслью...». 9 февраля Гоголь последний раз приехал к Хомякову и долго, несколько часов подряд, играл со своим крестником. Судьба распорядилась так, что двухлетний ребенок, Николенька Хомяков, оказался последним, с кем общался великий Гоголь. 10 февраля Гоголь написал прощальное письмо матери, всю ночь с 11-го на 12-ое жег бумаги, в том числе рукописи второго тома «Мертвых душ». Больше он с постели не вставал, отказывался принимать пищу и видеть друзей, и в восемь утра 21 февраля 1852 г. скончался.

Алексей Степанович писал в те дни А.Н.Попову: «Николенькин крестный отец, Гоголь наш, умер. Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли; он говорил, что в ней для него умирают многие, которых он любил всей душой, особенно же Н.М.Языков. На панихиде он сказал: всё для меня кончено. С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал морить себя голодом. ...В субботу на масленице Гоголь был еще у меня и ласкал своего крестника... Я мог бы написать об этом психологическую штудию; но кто поймет, кто захочет понять? А сверх того, и печатать будет нельзя...».

Переживши в Москве сороковой день по кончине жены, а потом и сороковины Гоголя, Алексей Хомяков уехал в Липицы, откуда несколько месяцев никому не писал. Только в августе, проездом в Богучарово через Москву, он написал Ю.Ф.Самарину: «Не знаю, слышали ли вы, какое чудное место эти Липицы, как они, можно сказать, ненаглядно-хороши! Катя любила их еще более моего; она говаривала, что не отдала бы их за Ричмонд, который за границей нравился ей более всего. Много я там сделал посадок при ней, но еще более в последние три года, в которые ей не удалось там быть, и все удались, и я думал ее обрадовать ими неожиданно, потому что она о многих не слыхала. И всё принялось, и всё разрастается! Невероятная тоска напала на меня. Я старался не поддаваться, работал усердно, упрямо; ничто не помогало. Сердце не хотело от нее отступить...».

23 сентября 1860 г. Алексей Степанович Хомяков умер от холеры в селе Ивановском Донковского уезда Рязанской губернии (сегодня — это Липецкая область). Он приехал туда бороться с эпидемией; его последними словами были: «Стольких вылечил — а себя не сумел». Его младшему сыну, Николаю Хомякову, было в ту пору немногим более десяти лет...

По общему мнению исследователей, Николай Алексеевич Хомяков стал самым знаменитым за всю историю смоленским губернским предводителем дворянства. С ним может сравниться разве что Сергей Иванович Лесли (из шотландцев, перешедших на русскую службу) — дворянский предводитель, организовавший смоленское народное ополчение в 1812 г. Хомяков, самобытный и талантливый человек, умелый хозяин и администратор, один из лидеров общероссийского праволиберального движения, пережил свои «звездные часы» на посту Председателя III-й Государственной Думы.

...Есть известное древнеримское изречение: «Значение твоей личности определяется в том числе величиим недругов, которых ты победил». Уже само избрание Хомякова на думский председательский пост было связано с острейшей политической борьбой. Из общего числа депутатов Третьей Думы — 442-ух, у «октябристской» фракции было только 154 депутата. Чтобы составить думское большинство, правительство Петра Столыпина своим влиянием выделило из правых депутатов группу в 70 человек «умеренно-правых». Таким образом, в Думе составилось неустойчивое правоцентристское большинство в 224 голоса. В этих условиях значение при выборах Председателя имела не только партийная принадлежность, но и масштаб личности кандидата.

Самым вероятным кандидатом на пост Председателя был граф Алексей Александрович Бобринский, сын скончавшегося в 1903 г. графа Александра Алексеевича Бобринского — бывшего петербургского губернатора, бывшего петербургского губернского предводителя, члена Государственного совета. Да и сам граф Алексей Бобринский был личностью по-своему выдающейся. После учебы на юридическом факультете Петербургского университета служил в канцелярии Кабинета министров. С 1875 г. санкт-петербургский уездный предводитель; с 1878 по 1898 гг. (в течение двадцати лет!) санкт-петербургский губернский предводитель дворянства, Председатель Петербургской городской думы, Председатель Совета русско-английского банка. Но Алексей Бобринский был еще и крупнейшим ученым-археологом: с 1886 г. (и до 1917 г.) — председатель Императорской археологической комиссии, член многих иностранных археологических обществ. Обследовал около тысячи курганов, главным образом в Керчи и Киевской губернии, собрал уникальную коллекцию старинной бронзы. В 1889—1890 гг. вице-президент Академии художеств. При этом граф Алексей Бобринский был человеком ультраправых взглядов; в период революции 1905—1907 гг. выступил сторонником консолидации поместного дворянства, в мае 1906 г. был избран председателем Совета объединенного дворянства. Не пройдя в первые две Думы, как чересчур «правый», он в третью Думу был избран от Киевской губернии. Граф Бобринский всегда выступал с беспощадной критикой правительства П.А.Столыпина, и его избрание на пост Председателя Думы несомненно поставило бы под вопрос проведение правительственных реформ.

Кабинет Столыпина и лично премьер оказались в сложнейшем положении. Консультации показали: единственной фигурой из умеренно-либерального лагеря, способной переиграть ультраправого радикала графа Бобринского является смоленский депутат-октябрист Николай Хомяков. Он мог собрать голоса не только «октябристов» и «умеренно-правых», но и кадетов, и части «националистов»: сын известного философа и литератора, смоленский губернский предводитель, умеренный земец и в то же время — крупный госсановник (был шесть лет директором министерского департамента), бывал на турецкой и японской войнах.

Из мемуарной литературы известно, что Хомяков долго отказывался от предложения занять председательский пост. В.А.Маклаков, например, писал о Хомякове, что, как «человек исключительной щепетильности» и «чуждавшийся политических дрязг», он «на эту Голгофу идти не хотел и отказался». (Известно, что и ранее Хомяков весь-

ма тяготился официальными постами. Покидая в свое время нелюбимый пост директора правительственного департамента, он написал: «Так бы и не уезжал из деревни, если бы не эта политика...»)

Между тем лично вмешался премьер-министр Столыпин, хорошо знавший Хомякова и заинтересованный в том, чтобы Думу возглавил не ультраправый, ориентированный на самую консервативную часть императорского двора, граф Бобринский, а такой человек, как Хомяков – с центристскими взглядами, способный наладить партнерскую работу с реформаторской частью правительства. Маклаков вспоминал: «За отказом Хомякова он (Бобринский) имел все шансы. Но Столыпин, услышав про это, вмешался; он сам приехал к Хомякову, просидел у него целый вечер, убеждал его идти в Председатели и соблазнял перспективой дружных работ по проведению Манифеста (17 октября). Хомяков уступил. Кандидатура гр. Бобринского этим отпала, и Хомяков был выбран почти единогласно...».

Читая стенографические отчеты заседаний Третьей Думы, поражаешься, как тонко, поистине виртуозно, умел Николай Хомяков лавировать между Сциллой реакции и Харибдой революции, между правым и левым радикализмом. Но этот виртуозный председательский «слалом» не мог продолжаться долго. В конце концов Хомяков не смог воспрепятствовать лобовому столкновению думского ультраправого провокатора Пуришкевича и левых депутатов. Он подал в отставку. И в этом смысле его личная судьба совпала с политической судьбой целого направления в отечественной мысли и политике – политической судьбой российского либерализма. Отставка Хомякова в апреле 1910 г. стала лишь ранним прологом последующих драматических событий, обрушивших целый континент – историческую Россию, оказавшуюся в начале прошлого века неспособной преодолеть внутренний раскол. Николай Алексеевич Хомяков прожил еще пятнадцать лет, но судьба более не баловала его...

P.S. 28 июня 1925 г. Н.А.Хомяков скончался в хорватском городке Рагузе (Дубровнике) и был похоронен на местном кладбище. Мне, с помощью друзей из дубровницкой православной общины, удалось разыскать могилу Н.А.Хомякова. Известно, что город Дубровник оказался в эпицентре недавней гражданской войны в Югославии и сильно пострадал. Православное кладбище подверглось глумлению; скромный обелиск над могилой Н.А.Хомякова и его жены Натальи Александровны был серьезно поврежден...

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ МИЛЮКОВ:
**«Идти соединением либеральной тактики с революционной
угрозой...»**

Павел Николаевич Милюков родился 15 января 1859 г. в Москве на Пречистенке в дворянской семье. По обычаю при крещении он получил имя святого, в день которого появился на свет, — пустынножителя IV-го в. Павла Фивейского. Но, в отличие от своего святого, нашедшего смысл бытия в полном аскетическом уединении, Павел Милюков всю жизнь был ярко выраженным экстравертом и настойчиво стремился оказаться в самом центре общественно-политической жизни. И надо признать: ему это часто удавалось...

Молодые годы

В 1877 г. будущий знаменитый историк и политик окончил, лучшим среди одноклассников и с серебряной медалью, Первую московскую гимназию (на углу Волхонки и Бульварного кольца), где до него учились двое других выдающихся русских историков — Михаил Погодин и Сергей Соловьев. После окончания гимназии, когда разразилась русско-турецкая война, гимназический друг Милюкова князь Николай Долгоруков предложил ему перед поступлением в университет поработать вместе волонтерами в санитарном отряде при кавказской армии. Работа продолжалась три месяца — к моменту возвращения друзей в Москву занятия в университете уже начались.

В конце сентября 1877 г. Павел Милюков был зачислен на первый курс историко-филологического факультета Московского университета, где учился у П.Г.Виноградова, В.И.Герье, В.Ф.Миллера, а потом В.О.Ключевского и Н.С.Тихонравова. Большую роль в его

становлении сыграл также М.М.Ковалевский, приобщивший Милюкова-студента к философско-историческому позитивизму Огюста Конта. По позднешему признанию самого Милюкова, именно контовский позитивизм сформировал в нем основной каркас поступательно-прогрессивистской концепции истории: «Конт был читан, перечитан, конспектирован и возымел самое решительное влияние на все научное мировоззрение...».

Противоречия правительственного курса последних лет царствования Александра II прямым образом отзывались на положении в университете. Уже со второго-третьего курса Милюков становится заметной фигурой в студенческих кружках, популярным оратором на сходках и митингах. Известие об убийстве императора террористами 1 марта 1881 г. вызвало небывалое студенческое брожение: в начале апреля Милюков был в первый раз арестован и исключен из университета с правом восстановления на следующий год.

Неожиданно образовавшийся внезапный досуг был, впрочем, использован с большой пользой для самообразования. Получив разрешение на выезд за границу, двадцатидвухлетний Милюков отправился в Италию для практического знакомства с культурно-историческим наследием античности и Возрождения. Любопытны впечатления юного русского западника от первой непосредственной встречи с «живым Западом». Европа поразила Милюкова уже в Варшаве: «Варшава, при проезде с вокзала на вокзал, показалась мне, по сравнению с Москвой, настоящим европейским городом – первым, который я видел...». Что же сказать о впечатлении, произведенном Венной! «Я потом много раз бывал в этой красивой столице, – вспоминал Милюков. – Но тогда восторг мой достиг высшей точки. Мне казалось, что лучше этого я уже больше ничего не увижу. Мы остановились в отеле “Метрополь”. Этот сравнительно скромный отель мне представился верхом комфорта и роскоши. А венский кофе с нетонущим куском сахара на сливочной пенке и с непременно стаканом ледяной воды!».

Историческая Италия дала богатую пищу для ищущего ума: мемуары Милюкова говорят о его редкой увлеченности и работоспособности. Заложное тогда культурное знание прочно вошло в духовный арсенал будущего политика. Много позже коллеги Милюкова по редакции кадетской газеты «Речь» запомнили, например, такой эпизод. Летом 1911 г. из парижского Лувра была похищена знаменитая «Джоконда» Леонардо да Винчи. Редактор художественного отдела литератор и искусствовед А.Н.Бенуа был тогда за границей, и кто-то предложил обратиться на эту тему к главному редактору –

Милюкову. Вечером статья была готова; вернувшийся вскоре Бенуа долго не хотел верить, что текст принадлежит Милюкову, а не крупному специалисту по истории искусства Возрождения.

Политические выводы из исторических штудий

Вернувшись после первого заграничного путешествия на четвертый курс университета, Милюков углубился в изучение русской истории. По окончании учебы он был оставлен при кафедре В.О.Ключевского для подготовки к профессорскому званию. В 1886 г. он становится приват-доцентом, а в 1892 г. успешно защищает магистерскую диссертацию о государственном хозяйстве России в эпоху Петра Великого. Окончательное профессиональное признание принесли Милюкову трехтомные «Очерки по истории русской культуры» (1896–1903).

В своих работах Милюков-историк пытался найти и сформулировать баланс между безусловной верой в европейский универсализм и пониманием очевидной русской особенности перед лицом классической Европы. Очень скоро его исторические штудии оказались ангажированы вполне прикладной идеей: Россия должна и способна войти в Европу, но траектория русской европеизации будет не вполне классической. Если внимательно вчитаться в милюковские «Очерки русской культуры», написанные еще на рубеже столетий, то становится очевидным, что уже тогда главными для Милюкова стали вопросы о том, как возможно в России формирование европейской политической культуры и кто способен стать эффективным субъектом европеизации страны. Отсюда его пристальное внимание к фигуре главного «русского западника» — Петра Великого.

Петр всегда был культовой фигурой для русских западников: его радикализм в деле вестернизации России оправдывал в их глазах и авторитарную модель режима, и революционно-варварские методы в борьбе против традиционалистского «варварства». Критика петровских «реформ сверху» стала уделом славянофильства, и лишь очень немногие из отечественных западников находили в себе смелость подвергнуть сомнению реформаторский гений императора. Милюков, профессионально изучавший историю петровских реформ, оказался в числе немногих ярких критиков Петра с позиций... самого европеизма.

Петровский «европеизм», с точки зрения Милюкова, слишком импульсивен и эмоционально окрашен, а потому формален и неглубок. Придворные интриги, тревожная обстановка детства выработали в молодом царе, с одной стороны, «замечательное умение притво-

ряться, которому не раз удивлялись иностранцы», а с другой — «непобедимое недоверие к искренности его окружающих»: «Эта благоприобретенная черта не позволяла Петру до конца жизни ни на кого ни в чем положиться и приводила к тому же, к чему и врожденная живость характера: к желанию, превратившемуся в потребность, самому все делать, входя в самые мелочные детали каждого дела...». По мнению Милюкова, Петр оказался в заколдованном круге: цена в людях прежде всего абсолютную личную преданность, он имел очень ограниченный кадровый выбор и «ни на один сколько-нибудь ответственный пост не мог посадить лицо, действительно подходящее, а назначал фигурантов, ничтожества, не имевшие никакого понятия о деле...». Обратной стороной такого положения вещей было полное равнодушие ближайших сотрудников Петра к глубинному содержанию того дела, которым они были вынуждены заниматься: «Чем их положение становилось прочнее и обеспеченнее, тем сильнее обнаруживалось, что они преследуют только личные, своекорыстные интересы». По существу эти «сподвижники» оказались такими же врагами реформ (первые же послепетровские годы это окончательно подтвердили), как и те, которых царь надеялся победить назначением доверенных лиц. Вокруг максималиста Петра образовалась пустота, и сам он становился «всё более анахронизмом среди сотканной им же паутины нового житейского церемониала»: «Окружающие утомлялись от этой необходимости быть вечно настороже... В конце концов, против царя составилась какой-то молчаливый, пассивный заговор...». Вывод Милюкова таков: «При полном отсутствии той междуклеточной ткани социальных отношений, которая вырабатывается культурным процессом и одна может обеспечить непрерывность социального действия, ... Петру поневоле приходилось верить в одного только себя и полагаться лишь на собственные силы».

Убежденный европеист, Милюков был, однако, очень далек от тотальной критики петровской «полувестернизации». Да, Петр во многом ограничился лишь внешним подражательством Западу, но эта «внешность» (одежда, жилище, церемониал), согласно Милюкову, — «важнейшие части немого языка культуры». Бытовой, формальный европеизм — низший, но обязательный этап взращивания европеизма содержательного, необходимый пролог к постановке главного вопроса: как сформировать в России эту искомую русско-европейскую «междуклеточную ткань социальных отношений»?

Уже в ранних «Очерках» у Милюкова-историка зарождается мысль о приоритетности создания в России европейской *политической* среды. «России не хватает политики», полагает Милюков, и в пер-

вую очередь ее важнейшего элемента — идейного плюрализма и развитого парламентаризма, опирающихся на либеральное законодательство. Но кто способен в самодержавной стране эффективно бороться за конституцию, демократию и парламентаризм?

Развенчивая преобразовательный пафос героя-одиночки, Милюков вообще считал крайне ограниченными возможности в России «модернизации сверху». Ведь государство и бюрократия в России явились не естественным продуктом общественного договора сословий, а *искусственным*, автономным от общества, всеподавляющим образованием. А в условиях, когда обратная связь с общественными интересами сведена до минимума, правящая бюрократия оказывается совершенно нечувствительной к социальным потребностям.

Скептически оценивает Милюков и модернизаторский потенциал российского дворянства как сословия. В отличие от западной аристократии, прошедшей долгую школу борьбы за личные права и свободы, русское дворянство было привилегированным лишь в той мере, в какой было служилым сословием. Отмена обязательности государственной службы при Екатерине дала толчок не столько к развитию сословной самостоятельности и корпоративного духа дворянства, сколько к еще большей политической апатии.

Не получается в России и полноценная ставка на «третье сословие», сословие горожан. В отличие от Запада, где рост городов был следствием внутреннего развития экономической и промышленной жизни, в России город был не автономной, эмансипированной от верховной власти, а, напротив, максимально зависимой от самодержавия единицей: «Раньше, чем город понадобился населению, он понадобился правительству». Русский город, согласно Милюкову, имел принципиально иную природу, чем на Западе: «И сама Москва, единственный сколько-нибудь значительный город древней России, не составляет исключения... Несмотря на обширное пространство, ... Москва была огромной царской усадьбой, значительная часть населения которой так или иначе стояла в связи с дворцом в качестве свиты, гвардии или дворни...». Петербургский период лишь развил и усугубил эту тенденцию.

Итак, проблема России и ее гражданской отсталости на фоне динамичной, прогрессирующей Европы — не в силе русской государственности, а, как это ни парадоксально, в *слабости* последней, в преобладании сверху донизу анархизирующих, негосударственных элементов, в отсутствии «социального сцепления». Власть — самодур-

на, неподзаконна и по-своему анархична, поэтому эффективной государственности не складывается. Даже Петр — апофеоз русской власти — не в силах создать органичных механизмов государственности. Необходимо увеличивать силы сцепления между властью и обществом, создать — как на либеральном Западе — «политическую нацию».

Апология русской интеллигенции

Таким образом, излюбленная идея Милюкова, которую он варьировал на протяжении всей своей интеллектуальной карьеры, — это острая недостаточность в России политической культуры. Перебрав и оценив все возможности и шансы, Милюков едва ли не «методом исключения» приходит к выводу, что единственным перспективным ферментом европеизма в России, силой, способной целенаправленно формировать европейскую «междуклеточную ткань социальных отношений», является национальная интеллигенция, внеклассовое образование, способное формулировать общенациональные, гражданские, а не узкокорпоративные интересы. Отсюда и позднейшее убеждение Милюкова как конституционного демократа: кредо истинного «кадета» не в защите интересов социальных низов (этим занимаются «левые») и не в защите корпоративных привилегий верхов (здесь поле деятельности «правых»), а в отстаивании интересов формирующейся нации как целого. Интересы эти состоят в первую очередь в расширении пространства политической свободы, которая должна быть обеспечена демократизацией права и особой социальной политикой (например, справедливым перераспределением частной собственности через отчуждение ее неэффективных и антисоциальных излишков за адекватное вознаграждение).

Интеллигенция для Милюкова — временный заместитель в России «третьего сословия», сословия «bourgeois», однако не в банальном материально-собственническом, а в широком культурном смысле. Фактически европеист Милюков полагает именно развитие культуры наипрочнейшим залогом развития русского европеизма. Европеизм, либерализм и культура для него — в российском контексте — понятия почти синонимичные. Политическая культура для Милюкова высшая и универсальная форма культурного существования вообще. Через парламентско-партийную систему политика увенчивает здание культуры, создает ту универсальную связь, которая в конечном счете и «сцепляет» политическую нацию.

Отношение к национальной интеллигенции – суть внутрилиберальных расхождений Милюкова и группы интеллектуалов, составивших знаменитый сборник «Вехи». Как известно, одну из главных причин русского неустройства веховцы видели в деструктивной, антигосударственной, «отщепенческой» (по выражению Петра Струве) роли интеллигенции, в интеллигентском идейно-политическом максимализме, разнуздывающем разрушительные инстинкты социальных низов. У веховцев речь шла о необходимости интеллигентской «деполитизации» и ставке на социальную эволюцию и личностное совершенствование. Милюков же, напротив, был уверен, что *политическая реформа должна предшествовать социальной* и только политические права и свободы могут стать надежной гарантией от эксцессов как власти, так и революции.

В антивеховском сборнике «Интеллигенция в России» Милюков выступил с программной статьей «Интеллигенция и историческая традиция». В отличие от бывших марксистов, пришедших к идеализму (Бердяев, Булгаков, Франк и др.), он видел причину русских бед не в «панполитизме» интеллигенции, а, напротив, в недостатке осмысленной политизации. По его мнению, чужающиеся политики, авторы «Вех», сами дают наглядный пример левого иррационализма, фанатического стремления монополизовать истину, напроочь забывая о культурном плюрализме и толерантности. Взяв на вооружение идеи рационализма, Милюков так писал об основной идее «Вех»: «Это бунт против культуры, протест “мальчика без штанов”, “свободного” и “всечеловеческого”, естественного в своей примитивной беспорядочности, против “мальчика в штанах”, который подчиняется авторитетам... Как-то так выходит, что авторы “Вех”, начавши с очевидного намерения одеть русского мальчика в штаны, кончают рассуждениями... “мальчика без штанов”...».

Обвинение таких рафинированных интеллектуалов, как Бердяев, Булгаков, Франк, в «примитивной беспорядочности» и «беспорядочной всечеловечности» было, конечно, весьма аванжным и эффективным. Рассудочному Милюкову, считавшему себя рациональным аналитиком, прошедшим школу позитивизма, вряд ли тогда представлялась, что в его собственной партии найдется человек, который спустя несколько лет очень аккуратно, неразмашисто, но едко уязвит Милюкова в том же самом, в чем Милюков упрекал и Петра-реформатора, и веховских интеллектуалов, – в интеллигентской импульсивности и преобладании эмоций над рассудочностью. Этим человеком станет коллега Милюкова по кадетской партии – Василий Алексеевич Маклаков.

Приход в политику

Со временем Милюков окончательно нащупывает принципиальное решение в создании политической организации конституционалистов-единомышленников, соединявшей либерально-демократические усилия просвещенной интеллигенции и практиков из числа земских либералов. Партия для Милюкова — это механизм рационального согласования позиций и выработки стратегии позитивного действия. Позитивистская, «контровская» выучка в полной мере сказалась и здесь.

Уже первые политические опыты Милюкова 90-х гг. позапрошлого века говорят о постепенном формировании его особого политического стиля, который позволил ему со временем прочно стать во главе либерального движения в России и долгие годы удерживаться на этой позиции. Ближко знавшие его друзья характеризовали политические позиции Милюкова того времени как «левый либерализм», балансирование «на грани легальности», стремление найти среднюю линию между радикализмом и эволюционным обновленчеством. Строгость исторической аргументации и при этом радикализм политических выводов становятся «фирменным знаком» Милюкова. Позднее известный кадет В.А.Оболенский постарается отыскать разгадку этого двуединства в том, что политические приоритеты Милюкова сложились не под влиянием эмоциональной «любви к народу» (как у радикальных народников), а, прежде всего, как «вывод из научной работы мысли». Милюков-политик — прямое отражение Милюкова-историка (добавим: историка-позитивиста). Подобное научно-рациональное происхождение политических идей Милюкова, полученных им из научных занятий, и явилось, по мысли Оболенского, залогом их прочности: «Идеи, воспринятые эмоционально, легко стираются новыми эмоциями. Идеи, почерпнутые из практической жизни, не выдерживают часто жизненных перемен. Работа мысли всегда прочнее». Сам Милюков весьма характерно описал в «Воспоминаниях» принципы своего политического возмужания: «В моем случае наблюдения над жизнью передовых демократий соединялись с предпосылками, вынесенными из изучения русской истории. Одни указывали цель, другие устанавливали границы возможных достижений».

Тогда же, на рубеже веков, Милюков обрастает большим кругом знакомств в интеллектуальной, культурной и политической среде, активно сотрудничает в научно-просветительских журналах и первых политических газетах. Научная и лекционная деятельность перемежается судебными разбирательствами и тюремными отсидками. Вла-

сти несколько раз арестовывают Милюкова — и... отпускают его для чтения лекций за границу. Правительство, более озабоченное крайними радикалами-социалистами, никак не может определиться в отношении либеральной профессуры.

Начало нового века П.Н.Милюков встретил, имея безусловный авторитет интеллектуала-эрудита, умелого лектора, талантливого публициста и — одновременно — энергичного борца с режимом, имевшего к тому же уникальный круг знакомств. Человек с такой репутацией не мог не быть востребован нарождающейся политической оппозицией. Весной 1902 г., еще до своего многомесячного вынужденного отъезда за границу, Милюков получил приглашение от группы тверских земцев во главе с И.И.Петрункевичем приехать в его имение Машук для составления программного заявления в первый номер заграничного либерального журнала «Освобождение» (там, кроме хозяина, присутствовали еще двое будущих отцов-основателей кадетской партии — князь Д.И.Шаховской и А.А.Корнилов). Проект был обсужден, позднее дорабатывался и, с небольшими изменениями, под названием «От русских конституционалистов» был опубликован в первом номере «Освобождения», которое П.Б.Струве начал издавать в Штутгарте.

По собственному признанию Милюкова, он окончательно провозгласил себя либералом в 1903 г. При этом он считал себя продолжателем скорее интеллектуальной (близкой к декабристам и Герцену), а не экономико-буржуазной либеральной традиции. А поскольку именно политическая эмансипация общества виделась ему приоритетной, он полагал возможным и даже необходимым сотрудничество с умеренными социалистами в деле демократизации страны.

Милюков вернулся в Россию в апреле 1905 г., когда процесс политической самоорганизации уже охватил российские столицы. Одно время его пытались перехватить интеллектуальные лидеры социалистов-революционеров. Друзья из народнической редакции «Русского богатства» (В.А.Мякотин, А.В.Пешехонов и др.) предлагали ему даже войти в состав ЦК эсеровской партии и были немало удивлены отказом Милюкова, заявившего, что он вовсе не является социалистом. Столь же радушно Милюков был принят и в демократическом, либерально-народническом Союзе писателей, организованном Литературным Фондом (К.К.Арсеньев, Н.Ф.Анненский), и в Вольном Экономическом обществе (где наличествовали все политические оттенки — от либерал-консерватизма графа П.А.Гейдена до социального демократизма Е.Д.Кусковой). Некоторое время Милюков не делал

окончательного выбора: «Такое мое положение было самым благоприятным не только как обсервационный пункт, но и как способ политического самоопределения».

Именно это положение между земцами-практиками (Петрункевич, Родичев, Шаховской, братья Долгоруковы) и «левыми интеллигентами» (Анненский, Богучарский, Пешехонов, Прокопович) еще более улучшило стартовую позицию Милюкова для быстрого политического взлета. Он стал активным участником т. наз. «банкетной кампании», когда под видом безобидной фронды закладывались основы будущего политического самоопределения. Бывало, что Милюков выступал тогда по нескольку раз в день – от аристократических салонов до студенческих мансард. Всегда действовавший на грани легальности, Милюков понял скрытый до поры потенциал безобидных, казалось, «банкетов». Он-то как историк прекрасно знал, что аналогичные банкеты в эпоху Луи-Филиппа стали эффективной формой быстрого перехода от ритуальной фронды к открытой политической борьбе, приведшей в конце концов к падению июльской монархии во Франции.

Среди людей, различных по политическим убеждениям, но временно объединенных схожими антиправительственными эмоциями, Милюков оказался одним из самых рациональных. Процесс политической самоорганизации, неизбежно предполагающий рационализацию эмоций, потребовал поставить во главе общелиберального движения человека суховато-рассудочного, тяготеющего к либеральному центризму. В интеллигентской политизированной среде, решившейся на кристаллизацию политической партии, существовал острый запрос на лидера, способного примирять фланги, имеющего уникальную способность и раствориться в общелиберальной среде, и в то же время эффективно представлять ее от ее имени. Этот лидер должен был быть фундаментально образован, убедительно говорить, хорошо писать, умело председательствовать, иметь честную репутацию принципиального противника режима, в том числе и за границей. В каждой из перечисленных «номинаций» по отдельности были люди, наверное, не менее блестящие, чем Милюков, но он оказался уникален по совокупности искомых качеств. Как «многоборцу» Милюкову не оказалось равных, и он очень быстро дал окружающим понять это.

Во главе кадетской партии

В зародившейся Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) были практически с самого начала введены председательские функции и функции «лидера партии».

Председательство в ЦК в разное время осуществляли бесспорные моральные авторитеты — князь Пав. Д. Долгоруков и И. И. Петрункевич. В первой и второй Государственных Думах, не будучи депутатом, Милюков не мог быть соответственно и руководителем фракции. Но уже с первых лет кадетской деятельности за ним прочно закрепляется роль «лидера партии». Именно в его функции входила выработка стратегической линии, формулировка тактических задач, принципов и форм коалиционной политики.

Позднее многие критики (часто из числа до поры лояльных коллег-партийцев) сетовали, что в такой ответственной для России момент либеральную партию возглавлял столь «бесчувственный» человек, как Милюков. Его позицией были недовольны многие, обвинявшие его и в «избыточной рассудочности», и в склонности «выстраивать жизнь геометрически», видеть в коллегах «не человеческую душу, а политическую функцию». Оппоненты Милюкова полагали, что прочность его убеждений часто перерастала в политическую косность, уподобляли Милюкова сильному, с хорошей выучкой, шахматисту, блестяще разыгрывающему «стандартные положения», но негибкому и неспособному к творческой импровизации... Справедливости ради, однако, надо сказать, что без Милюкова прочное организационное оформление российского либерального демократизма могло вообще не состояться и уж, во всяком случае, не продержалось бы столь относительно долгое время. Именно в сохранении внутрипартийного единства Милюков видел свою приоритетную политическую задачу, возможно — историческую миссию. Он сознательно отождествил себя с партией, и большинство в партии приняло это самоотождествление как естественное и должное.

Отмеченная многими современниками милюковская толерантность к внутрилиберальным оттенкам и различиям во многом проистекала из той же общеисторической концепции. Европейская «ткань», европейская политико-интеллектуальная среда по определению не могут быть однородны. Европеизм предполагает неперемutable наличие оттенков, зачастую — противоречий. Лидер, требующий унификации (пусть даже во имя западничества — как Петр!), не является вполне европеистом. Но и удержать эту неоднородную «ткань» от расплзания чрезвычайно сложно. Милюков, как трудяга-паук, плел и плел эту партийную ткань и, надо признать, сумел достаточно долго удерживать ее противоречивую целостность. В этом и состояла принципиальная политическая роль Милюкова — лидера-вождя и внутрилиберального посредника-медиума в одно и то же время.

«Справа» в партии ему постоянно досаждали В.А.Маклаков и П.Б.Струве; «слева» – не менее яркие фигуры типа А.В.Колюбакина или Н.В.Некрасова. Но Милюкову никогда и в голову не приходило (по крайней мере, он ни разу не дал себя в этом заподозрить) выдавливать этих людей из кадетских рядов, пользуясь лояльностью большинства. Свою роль он видел в формулировке общепартийной «средней линии» и к разбросу точек зрения в партии относился вполне терпимо. Иногда даже казалось, что он верил, что чем шире диапазон мнений, тем устойчивее партийный политический центр и его личное положение в партии.

Милюков, человек спокойный и уравновешенный, хорошо державший удар и знавший себе цену, никогда не страдал комплексом неполноценности и не бравировал своим лидерством в партии. Он всегда признавал нравственный авторитет в партии патриарха земского радикал-либерализма Петрункевича и выдающиеся личные качества князей Долгоруковых и Шаховского, не считая зазорным лишний раз поехать посоветоваться с ними не только по принципиальным, но и по менее важным вопросам. Те, в свою очередь, зная предсказуемость и взвешенность Милюкова, безусловно доверяли ему в текущих вопросах политической тактики.

Милюков, похоже, не ревновал к успеху и славе своих талантливых товарищей по партии – по крайней мере, все вокруг были в этом уверены. Уже будучи депутатом и признанным лидером фракции, он часто с видимой легкостью уступал право выигрышных выступлений по принципиальным вопросам другим кадетским депутатам – например, В.А.Маклакову или Ф.И.Родичеву, полностью полагаясь на их компетентность и ораторский дар. Очевидно, что роль Милюкова в партии определялась еще и тем, что ему удалось создать доверительную «рабочую связку» с такими выдающимися кадетами, как Ф.Ф.Кокоскин и А.И.Шингарев. Поэтому, когда периодически перерешался вопрос, кому быть лидером партии, Милюков вновь и вновь получал преимущество еще и потому, что возглавлял сработавшуюся и авторитетную команду.

Разумеется, не все звезды либерализма желали светить отраженным светом Милюкова. Среди тех, кто интеллектуально был близок к кадетизму, но отказался войти в партию, был, например, М.М.Ковалевский. Его, знавшего Милюкова еще юным студентом, можно, наверное, понять. А.В.Тыркова вспоминала, как однажды на ее вопрос, почему, в целом разделяя кадетские взгляды, Ковалевский не вступает в партию, тот, «заливаясь своеобразным хохотом, от которого не только он сам, но и воздух кругом колыхался», ответил: «Не могу же я под Милюковым сидеть. Душа не принимает...».

Да и внутри партии были влиятельные кадеты, кого Милюков откровенно раздражал и кто был способен, при других обстоятельствах, претендовать на общепартийное лидерство. Лидер московских кадетов М. В. Челноков (будущий московский городской голова) иронично и неприязненно называл Милюкова «Милюк-пашой» и даже в пору своего думского депутатства стремился дистанцироваться от кадетов-петербуржцев, среди которых влияние Милюкова было особенно сильно.

Возможно также, что такие фигуры, как П. Б. Струве или В. А. Маклаков, были интеллектуально более яркими, чем Милюков, но они были менее организованны, менее предсказуемы, имели многие интересы, помимо партийных, и потому добровольно отошли на второй план. Некоторое время претендовал на лидерство и блестящий юрист М. М. Винавер, но и он, присяжный поверенный из провинциальных евреев, скоро вынужден был признать первенство великоросса Милюкова, ограничившись достаточным влиянием на лидера.

Милюковский стиль выработки внутрипартийного компромисса А. В. Тыркова описывала следующим образом: «Милюков умел внимательно слушать, умел от каждого собеседника подбирать сведения, черточки, суждения, из которых слагается общественное настроение или мнение... Это был технический прием, помогавший ему нащупывать то, что он называл своей тактической линией равнодействия... На следующее заседание Милюков уже являлся с синтезом разных мнений. Но, раз придя к какому-нибудь заключению, он крепко за него держался, и тогда сдвинуть его было трудно...». К этому надо добавить, что Милюков умел не только обобщать и адаптировать частные мнения (похоже, это во многом было сознательной демонстрацией демократизма), но и активнейшим образом формировал эту «тактическую линию равнодействия». Здесь мощным инструментом служили многолетние и практически ежедневные политические передовицы в партийной газете «Речь», закреплявшие лидерский статус Милюкова и во внутрипартийном, и в более широком общественном мнении.

В борьбе за политическую власть

Для российских интеллектуалов начала XX в., желающих активно участвовать в политике, было очень непросто удержаться в центре между примиренчеством и революционаризмом. В этом смысле политическое поведение Милюкова было в целом достаточно последо-

вательно и принципиально. Историческое знание европейского опыта говорило ему, что «третий путь» между реакцией и революцией не только необходим (что постулировала либеральная теория), но и возможен. А, следовательно, этот срединный путь должен быть практически найден и в России, и последовательное выдерживание его (другими словами, всемерное поддержание собственно *либеральной идентичности*) есть главный приоритет партийной политики.

Позднее внутрилиберальные оппоненты Милюкова (тот же В.А.Маклаков, например) говорили о трагическом недоучете кадетским лидером возможностей сотрудничества с тогдашней властью. Да, Милюков не верил в возможность чисто либерального воздействия на власть. В первую очередь из-за тотальной неразумности последней – от внутреннего устройства этой архаичной власти до ее ультраконсервативного менталитета. И если по отношению к становящемуся гражданскому обществу Милюков полагал приоритетной рациональную, разъясняющую, *просветительскую* стратегию, то по отношению к косной и иррациональной власти он считал нелишним жесткий эмоциональный прессинг, использование страха власти перед революционной бездной. Поэтому, по аналогии с периодом, предшествовавшим эпохе Великих реформ Александра II, Милюков считал, что *левая революционная угроза* может стать серьезным инструментом эволюции режима. Отсюда его знаменитая формула: «слева у нас врагов нет», за которую его бессчетное число раз били оппоненты «справа». Вспомним, однако, бесспорный исторический факт: со временем даже лидеры правых октябристов А.И.Гучков и М.В.Родзянко, стремившиеся реформировать режим по преимуществу «изнутри», исключая все радикальные методы внешнего воздействия на власть, пришли к тому же выводу о полной невменяемости наличной верховной власти и абсолютной невозможности рациональной апелляции к ней.

И все же в либерально-консервативной антимилюковской критике «справа» было, несомненно, рациональное зерно. В своих эмигрантских работах 1920-х гг. В.А.Маклаков, хотя и задним числом, но не без успеха попытался переиграть Милюкова на его же поле рассудочной тактики, фактически обвинив оппонента в «программном фетишизме». Маклаков укорил Милюкова в том, в чем тот когда-то сам обвинял авторов «Вех»: в подмене рациональной политики эмоциями и инстинктами. Здесь критик, по-видимому, прав: многие действия левых либералов во главе с Милюковым действительно были избыточно импульсивны и эмоциональны (например, подписание радикального, но, как выяснилось, тактически проигрышного «Выборгского воззвания» после роспуска первой Думы).

Менее убедителен Маклаков, когда пытался уязвить Милокова в избыточной амбициозности и неуступчивости в деле достижения компромиссных политических конфигураций с правящим режимом в годы первой русской революции. По мнению Маклакова, максимализм лидера кадетов, настаивавшего на «однородном кадетском министерстве» фактически сорвал возможности компромисса, способного повести Россию по пути политической эволюции.

В самом деле, существует немало свидетельств того, что в 1906 — 1907 гг. в самом ближайшем круге Николая II обсуждался вопрос о привлечении Милокова на министерские посты в правительстве, вплоть до председательского. Ясно, однако, и то, что это были комбинации отдельных членов николаевского окружения (Трепова, Столыпина, Извольского), стремящихся отсечь либералов от революционного лагеря и соблюсти при этом свои персональные интересы.

В своих мемуарах Милоков проявил достаточно ревнивое отношение ко всему комплексу вопросов о своем возможном призвании в кабинет министров. Тема — это совершенно очевидно — вплоть до последних дней бередила его сознание и память, заставляя вновь и вновь перепроверять свою давнишнюю позицию. И, надо признать, аргументация Милокова выглядит и логичной, и убедительной. Разумеется, у него были и соблазны власти (понятные для любого политика), и ревность по отношению к возможным конкурентам на посту «либерального премьера» (Д.Н.Шипову и С.А.Муромцеву), но очевидно, что не эти соображения были для него определяющими. Главным было убеждение в приоритетности четкой правительственной программы над конкретными фигурами. «Нельзя выбирать лиц; надо выбирать направление» — эту формулу Милоков проводил неукоснительно. В срыве переговоров о вхождении в кабинет министров сыграла свою роль и его безусловная лояльность партии: известно, что патриарх кадетов И.И.Петрункевич был шокирован даже самой возможностью включения членов партии в треповско-столыпинские комбинации. Все перечисленное в основном выводит Милокова из-под критики оппонентов, обвинявших его в неудовлетворенной амбициозности и действиях по принципу «если не я, то никто...». Стоит также напомнить, что даже куда более умеренные представители либерального лагеря (Д.Н.Шипов, П.А.Гейден, Н.Н.Львов, М.А.Стахович) в конечном счете не посчитали для себя возможным войти тогда в правительство: отсутствие гарантий серьезного политического влияния создавало запредельные риски для репутации.

Однако наилучшим индикатором политической умеренности и рассудительности Милюкова является его поведение в дни Февральской антимонархической революции. Как известно, 2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола в пользу брата Михаила, а не сына Алексея, как рассчитывали принудившие его к отставке представители Думы. Это меняло дело принципиальным образом; шансы «республиканцев» в оппозиционном лагере серьезно возросли. Парадоксально, но среди лидеров оппозиции (в самом широком диапазоне — от «левых» Керенского и Некрасова до «правых» типа Родзянко) Милюков оказался практически единственным, кто встал на защиту конституционной монархии. По его мнению, сохранение монархического строя (по крайней мере, на переходный период) необходимо, иначе Временное правительство рискует стать «утлой ладьей», которая может потонуть в океане народных волнений и не довести страну до Учредительного собрания. Сильная власть, необходимая для укрепления нового порядка, утверждал Милюков, нуждается в опоре на привычный для масс символ власти. В противном случае крайне вероятно утрата всякого «государственного чувства» и полная анархия.

Как известно, эта аргументация не была в полной мере услышана. По мнению Милюкова, «так совершилась первая капитуляция русской демократии»: не будущее Учредительное собрание, а верхушка последней Думы решила судьбу государства. Теперь новая власть опиралась не на законодательство, а на *революцию*, и то, что одно время могло казаться силой, со временем все более обнаруживало свою слабость и неустойчивость.

На посту министра иностранных дел

В первый революционный кабинет князя Г.Е.Львова Милюков вошел в качестве центральной фигуры — министра иностранных дел (говорили даже, что это именно Милюков специально выдвинул на первую роль Львова, дабы она не досталась Родзянко). Драматическая судьба этого правительства, как и последующих временных кабинетов министров, хорошо известна. Известно и то, что именно Милюков явился в те драматические месяцы 1917 г. объектом наиболее острых нападок как «слева», так и «справа».

Более всего Милюкова обвиняли в неуместной апологии союзнических обязательств, затягивании непопулярной войны, что, в свою очередь, явилось якобы прямым следствием «недостатка национального чутья» и «душевной тугоухости» (в последней инвективе иро-

нично оттенялись хороший музыкальный слух Милюкова и его любовь к игре на скрипке). Думается, что критика эта, хотя и не лишена оснований, в основе своей тенденциозна. У Милюкова-министра была своя — и достаточно последовательная — логика.

Как глава внешнеполитического ведомства Милюков лучше других понимал невозможность бесконфликтного одностороннего выхода России из войны; разрыв с союзниками мог лишь еще более осложнить положение. Возвращенные с фронта миллионы солдат могли стать источником окончательной дестабилизации. С другой стороны, только отмобилизованные и еще сохранявшие дисциплину фронтовые части были способны противостоять разлагающему влиянию политизированных столиц.

Иначе говоря, пребывание в состоянии войны (при всех очевидных издержках и рисках) представлялось Милюкову «меньшим злом» и более надежной тактикой для сдерживания главной опасности — народной стихии. В письме коллеге по партии, управляющему делами Временного правительства В.Д.Набокову (в 1922 г. тот ценой своей жизни спасет жизнь Милюкову в эмигрантском Берлине) Милюков писал: «Может быть, еще благодаря войне все у нас еще как-то держится, а без войны скорее бы все рассыпалось...». Своим соратникам министр разъяснял: «Революция должна быть *стиснута*, пока ее нельзя прекратить, стиснута именно военной обстановкой».

Милюков очень долго полагал возможным рационально переиграть революцию, не желая идти на компромиссы со стихийностью и «коллективным бессознательным». Ему претили попытки эсеро-меньшевистских лидеров (а также таких своих коллег по партии, как, например, Некрасов) «оседлать» волну иррационализма, слившись с ней, «возглавить взбесившийся табун», чтобы отвести его в сторону от пропасти. Налицо очевидный и драматический парадокс: рассудочная холодность Милюкова, которая когда-то помогла ему стать беспспорным лидером периода либерально-демократического подъема, — она же помешала ему стать эффективным политиком в эпоху массового иррационализма.

Особого разговора заслуживает вопрос о взаимоотношениях Милюкова и европейских союзников России, в первую очередь Англии. Как уже отмечалось, для Милюкова понятия «европеизм», «патриотизм» и даже «прагматизм» с самого начала его идейно-политического становления были во многом синонимами. В молодости он и сформировался как европеист (англоман по преимуществу), главным образом потому, что считал западную политическую культуру и классический парламентаризм благом для России. Прагматизм оставался

главным приоритетом для него и позднее, в годы мировой войны. Он, например, очень быстро охладел к союзникам, когда в апреле 1917 г. те фактически «сдали» его, никак не препятствуя выдавливанию его из правительства и сличком легко согласившись на его замену другим «западником» — Терещенко. Очевидно, что Англия, в апогее политической влиятельности Милюкова, была по отношению к нему настороже: он был для нее чересчур самостоятелен и амбициозен. В свою очередь, Милюков, признанный политический идеолог славянства (получивший за свои панславистские убеждения прозвище «Дарданелльский»), не мог не понимать, что Англии совсем не по вкусу ни доминирование России на Балканах, ни обретение ею контроля над черноморскими проливами. Милюков еще раз готов был поступиться своим англоманством, когда (правда, на очень короткий момент — летом 1918 г.) увидел шанс антибольшевистской борьбы в пруссофильской ориентации. И он быстро покаялся в своем «мимолетном затмении» (и перед кадетской партией, и перед союзниками), когда увидел полную иллюзорность ставки на немцев и неизбежность для себя и партии возвращения в лоно «союзничества». И, кстати, был достаточно легко прощен в Англии (официально — «в знак признания былых заслуг»): прагматическую сторону милюковской «западничества» там понимали вполне отчетливо, как понимали и то, что, как самостоятельный игрок, экс-министр России теперь не внушает больших опасений.

В Белом движении и эмиграции

Биография П.Н.Милюкова после большевистского переворота, его участие в Белом движении, а затем в многочисленных эмигрантских политических комбинациях достаточно хорошо изучены (недавняя публикация в России «Дневников Милюкова», хранящихся в Бахметьевском архивном фонде в США, является в этом смысле важной вехой). Наиболее проблемной и интересной темой для этого периода жизни Милюкова представляется постепенная выработка им в эмиграции т. наз. «нового курса».

Переосмысление Милюковым роли либералов в новейшей истории России началось с критического анализа взаимоотношений кадетской партии и «белых правительств». Как известно, еще до Октября, при всех попытках избежать прямого отождествления с идеей «правой военной диктатуры», кадеты так или иначе оказались связаны с корниловским мятежом. И впоследствии кадетизм был не-

отъемлемым элементом белых режимов: сам Милюков был советником генерала Алексеева, писал Декларацию Добровольческой армии; Струве был идеологом Деникина, Карташев – Юденича, Пепеляев – Колчака...

Милюков-эмигрант одним из первых либеральных лидеров понял, что главная угроза для сохранения либеральной, конституционно-демократической идентичности теперь исходит от перспективы растворения кадетов в правом, «реставрационном» лагере. Перед глазами Милюкова были к тому же наглядные примеры несомненного тактического успеха в эмиграции умеренных социалистов, которые, выдвинув в свое время лозунг «ни Ленина, ни Деникина», в большей мере сохранили свою антибольшевистскую и в то же время демократическую идентичность. Левые издания – «Дни» Керенского, «Современные записки» (Авксентьева-Бунакова-Вишняка-Руднева) – получили в эмигрантской среде немалый политико-интеллектуальный авторитет. А для кадетского лидера Милюкова не было, как отмечалось, угрозы больше, чем утрата четкой идентичности возглавляемой им партии.

В этом смысле «новая тактика» Милюкова, включавшая последовательное размежевание с «белым реставрационизмом», несомненно, помогла воссозданию кадетской партийной идентичности. Закономерно, что «новый курс», заново отстроивший конституционный либерализм отдельно от правого монархизма, очень быстро приобрел массу последователей из числа разбросанных кадетских групп. «Новая тактика» Милюкова не сыграла большой политической роли (как, впрочем, и любая другая антибольшевистская эмигрантская тактика в те годы), но помогла регенерации кадетского, либерально-демократического *modus vivendi*.

Как это ни парадоксально, но «новая тактика» Милюкова в значительной мере явилась воспроизведением в новых условиях традиционной, *старой* кадетской тактики. Милюков, как мы знаем, был особенно силен в разыгрывании «стандартных положений». Его новая тактика и была попыткой подстраивания под стандартное положение: в борьбе с режимом (на этот раз не царским, а большевистским) либералы используют угрозу «народной революции» в целях смягчения режима, а потому идут на союз с эсерами, некоторое время рассчитывавшими на успех своей массовой пропаганды в России. Классическая, вполне «старая» милюковская формула «*сочетание либеральной тактики с левой угрозой*» снова стала девизом либерально-демократической оппозиции.

Последние годы

В 1929 г. триумфально прошло чествование 70-летнего юбилея П.Н.Милюкова. Праздничные мероприятия в Париже, Нью-Йорке, Берлине, Праге превратились в торжества всей либерально-демократической части эмиграции. Милюковская газета «Последние новости» (издававшаяся в Париже с 1924 по 1940 гг.) на долгие годы стала бесспорным авторитетом, рупором сформировавшегося политического направления.

Однако с неменьшим основанием можно говорить о политическом и интеллектуальном *одиночестве* Милюкова в последние годы его жизни. Он надолго пережил своих более молодых, самых верных сподвижников — Ф.Ф.Кокошкина и А.И.Шингарева, зверски убитых большевиками в январе 1918 г. И.И.Петрункевич скончался в Праге в июне 1926 г., М.М.Винавер — в Ментон-сен-Бернар несколькими месяцами позднее. Политические разногласия разделили Милюкова с братьями Долгоруковыми и Ф.И.Родичевым. Отошедшие от политики А.А.Корнилов и Д.И.Шаховской остались в России: первый умер в 1925-м, второй был расстрелян в 1939-м...

В 1930-е гг. главной задачей либералов Милюков считал терпеливое выжидание и глубокий анализ идущих в России процессов. Это, разумеется, не могло устроить его более молодых и энергичных сподвижников. Близко знавший Милюкова в те годы Н.П.Вакар в своем «Дневнике» написал в 1939 г. жесткие слова о том, что Милюков «построил большое кладбище, на котором единственный живой человек он сам, сторож... Подниматься из могил не позволяет... Так и живут мертвецы. Есть среди них несколько заживо погребенных. Они бы и сбежали, да бежать некуда. Притворяются мертвыми...».

Престарелый гроссмейстер тактического маневрирования опять и опять переигрывал всех в тактике, но смысл этих маневров по ходу дела все более терялся — ведь никаких серьезных ставок в этой игре уже не было. В одной из последних принципиальных работ «Эмиграция на перепутье» Милюков вынужден был признать, что тактика постепенно утрачивает свое значение: «Нам сегодня нужна скорее стратегия...».

Между тем и в конце жизни П.Н.Милюков — европеист по культуре и позитивист по мировоззрению — принципиально остается при своем кредо непримиримого борца с политическим иррационализмом. Для него равно неприемлемы и «русское евразийство» (из этого кентавра, по его мнению, наверняка выйдет не Евразия, а *Азиона*), и итальянский фашизм (знаток итальянской культуры, он был оскорб-

лен претензиями чернорубашечников на античное наследие), и германский нацизм (презревший традицию классической немецкой рассудочности). Противостоять иррационализму и опасному мифотворчеству могут только высокая многообразная культура и политический плюрализм: здесь Милюков — последовательный сторонник западных демократий.

После оккупации немцами Парижа издание «Последних новостей» было прервано. Милюков уехал в «свободную зону» на юг Франции: жил в Виши, потом в Монпелье, весной 1941 г. обосновался в Экс-ле-Бен. Один из очевидцев последних месяцев его жизни вспоминал, что самыми важными часами для Милюкова были те, «когда он, прильнув ухом к настольному радио, ловил шепот швейцарских и лондонских передач. Душевный мир был нарушен, но воля оставалась крепкой. Высадка союзников в Африке, отступление немцев с Волги были, вероятно, его последней радостью. Вера давала силы...».

П.Н.Милюков скончался в Экс-ле-Бен 31 марта 1943 г. и был похоронен на местном кладбище. Позднее его прах был перезахоронен в семейном склепе на кладбище Батиньоль в Париже.

**АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КОРНИЛОВ:
«Вести работу не разрушительным натиском, а положительным
строительством...»**

В истории российской политики и культуры есть фигуры, которые не попадают в список «заглавных персонажей» при беглом перечислении. Привычное разделение исторических личностей на «героев» и «злодеев», казалось, навеки лишило их законного места в истории: они были ей настолько органичны, настолько по жизни легки и неамбициозны, что верным соратникам как-то и в голову не приходило их канонизировать, а врагам — по-настоящему испугаться и проклясть. Лишь вдумчивый анализ контекста, в котором в России вообще возможна и политика, и подлинная культура, позволяет выявить действительную роль этих людей в нашей истории. К числу таких неоцененных по достоинству фигур дореволюционной российской политики и культуры несомненно относится Александр Александрович Корнилов (1862–1925). Подлинный масштаб его личности — крупнейшего историка, политика, просто глубокого и совестливого русского человека — становится понятен только спустя годы и годы...

Когда в конце 1925 г. разбросанные по миру друзья Корнилова с опозданием узнали о его смерти в Ленинграде, они сначала не хотели поверить в случившееся. Бывший тогда в Париже академик В.И.Вернадский писал оставшемуся в России князю Д.И.Шаховскому: «Признаюсь, у меня даже явилось сомнение, верно ли это известие, так как оно не получило никакого отголоска в печати... Но, может быть, печать ее и не отметила?...». На смерть А.А.Корнилова отозвался в парижской эмигрантской печати его бывший друг по кадетскому ЦК, тоже крупный историк А.А.Кизеветтер: «Это был самоотверженный работник общего дела, охотно несший невиди-

мую, но громадную организационную работу и всего менее стремившийся выдвинуться на авансцену, всего более далекий от суетного личного честолюбия...».

Александр Александрович Корнилов родился в Санкт-Петербурге 18 ноября 1862 г. в дворянской семье. Дед Корнилова, военный моряк, приходился двоюродным братом знаменитому адмиралу Владимиру Алексеевичу Корнилову, герою Наваринского и Синопского сражений, руководителю обороны Севастополя, смертельно раненному ядром на Малаховом кургане. Отец Корнилова, тоже Александр Александрович (1834–1891), в Крымскую войну ушел на черноморский флот добровольцем; в 1857 г. принял участие в кругосветном путешествии в качестве флаг-офицера. В конце 1850-х гг. он был замечен и приближен А.В.Головниным – другом и личным секретарем великого князя Константина Николаевича, младшего брата императора Александра II, главы Морского министерства и лидера дворцовой реформаторской «партии». Головнин, неформальный лидер «константиновцев» (впоследствии он стал министром народного просвещения при Александре II), возглавлял тогда редакцию знаменитого «Морского сборника» – поначалу официального органа Морского министерства, сыгравшего затем большую роль в подготовке и проведении Великих реформ 1860-х гг. Повседневную редакционную работу взял на себя А.А.Корнилов: морской офицер, честный и трудолюбивый человек, он принял должность помощника редактора «Морского сборника». О влиятельности и значении этого издания на рубеже 1850–1860-х гг. говорит хотя бы тот факт, что в число активных сотрудников «Сборника» входили такие фигуры, как М.Х.Рейтерн (будущий министр финансов кабинета «Великих реформ»), писатель В.А.Цез (будущий председатель санкт-петербургского цензурного комитета), литератор и искусствовед Д.В.Григорович, врач и педагог Н.И.Пирогов и др. Н.Г.Чернышевский называл «Морской Сборник» «одним из замечательнейших явлений нашей литературы», а будущий министр внутренних дел П.А.Валуев как-то написал, что иные газеты только и живут перепечатыванием статей из «Морского сборника».

В 1861 г. Александр Корнилов-старший женился на Елизавете Николаевне Супоневой, от брака с которой родились трое сыновей и пять дочерей. Небогатый дворянин, обремененный большой семьей, решил уйти из теряющего свое влияние «Морского сборника» на государственную службу. В 1866 г. он поступил в ведомство Государственного контроля, под начало одного из старых «константиновцев» В.А.Татаринова, и далее последовательно занимал важные должнос-

ти управляющего контрольной палатой в Киеве, Кишиневе, Люблине, а в 1870 г. осел в Варшаве. С 1881 г. он — управляющий канцелярией одесского генерал-губернатора И.В.Гурко, с которым затем, с 1883 г., в той же должности работал и в Варшаве. В конце своей карьеры Корнилов-старший достиг генеральского чина тайного советника, был кавалером нескольких орденов.

Что касается Александра Корнилова-младшего, то он в 1880 г. окончил в Варшаве первую («русскую») гимназию и поступил на математический факультет Санкт-Петербургского университета, откуда затем, увлекшись гуманитарными науками, перевелся на другой факультет — юридический. В столичном университете сформировался тогда уникальный кружок единомышленников — т.наз. «варшавяне», начинавших образование в столице Польши, а затем переехавших для продолжения учебы в Петербург. Участниками кружка были в будущем крупные русские политики и ученые Федор и Сергей Ольденбурги, князь Дмитрий Шаховской, Сергей Крыжановский и др. Еще один член этого круга, впоследствии крупный историк Иван Гревс вспоминал о молодом Корнилове: «Александр Александрович Корнилов (в компании “Адя”) был человеком замечательной доброты и дружелюбия, принципиально и серьезно относившийся к жизни с юности, умный и дельный работник. Он вырос в ладной многодетной семье с несколькими младшими сестрами, о развитии души которых радел братски, почти отечески. Он искренне проникнут был патриархальными традициями теплых, крепких домашних привязанностей. Александр Александрович и на друзей переносил свою способность к глубоким интимным отношениям, становившимся почти кровными в его сердце. Он, сам всегда бесхитростный и скромный к себе, высоко ставил членов своего дружеского союза и навсегда остался для тех, кто сами сохранили основы своего духа, верным другом в жизни, незаменимым сотрудником в делах».

Если говорить о целях молодых участников студенческого «братства», то тот же И.Гревс определил их так: «Они хотели, чтобы в студенческой России вырос надпартийный, просвещенный, реально-идеальный, искренний, демократический либерализм... Они горячо любили народ, но высоко ставили миссию интеллигенции, не противопоставляя второй первому, но и не принижая ее перед ним. Они призывали вести свою работу не разрушительным натиском, а положительным строительством. Но они предвидели в борьбе с правительством неизбежность жертвы и готовы были идти на нее. На первый же и первостепенный план выдвигали... задачи серьезного прохождения через науку: они видели, как просвещение угнетается властью...».

В 1886 г. А.А.Корнилов защитил магистерскую диссертацию на тему «О значении общинного землевладения в аграрном быту народов» и спустя некоторое время получил назначение комиссаром по крестьянским делам в Конский уезд Радомской губернии Царства Польского. Здесь молодой чиновник впервые вплотную столкнулся с крестьянскими проблемами. Он потом вспоминал: «Мне шел в то время двадцать пятый год. По наружности, впрочем, я выглядел гораздо моложе. Помню даже один случай, повергший меня в то время в немалое смущение, когда пришедшие ко мне по делу крестьяне приняли меня за комиссарского сына и долго не хотели верить, что имеют дело с самим комиссаром».

Между тем Корнилову хотелось более точного приложения главной для членов «братства» идеи «народного служения»: в феврале 1892 г. он в первый раз уходит в отставку с государственной службы и в течение полутора лет отдает себя борьбе с последствиями страшного голода в Тамбовской, Воронежской и Тульской губерниях.

В 1894 г. Корнилов напечатал в «Русской мысли» ряд статей под общим заглавием «Судьба крестьянской реформы в Царстве Польском», объединенные затем в отдельном издании, привлекавшем к нему внимание не только как к перспективному общественному деятелю, но и как к талантливому историку-исследователю. Тогда же Корнилов становится завсегдатаем регулярных «журфиксов», которые проводились на квартире редактора «Русской мысли» В.А.Гольцева. Здесь, помимо старых друзей (Ольденбургов, Вернадских, Шаховского) собирались и многие другие люди, сыгравшие исключительную роль в отечественной истории: С.А.Муромцев (юрист, будущий Председатель Первой Думы), П.Н.Милюков (историк, будущий кадетский лидер), философ и правовед П.И.Новгородцев, земские лидеры и будущие депутаты И.И.Петрункевич, Ф.И.Родичев и др.

В 1894 г. судьба (а точнее — любовь) привела А.А.Корнилова в далекий Иркутск. Дело в том, что его невеста — Наталья Антиповна Федорова («Таля»), была уроженкой Иркутска и, обучаясь на столичных Высших («Бестужевских») курсах на стипендию от городской думы, была обязана затем некоторое время отработать городской учительницей в Иркутске. Скрывая от начальства глубинные причины своей заинтересованности в службе в Восточной Сибири (невеста еще не окончила курс в столице), Корнилов добивается назначения в Иркутск делопроизводителем по крестьянским делам в канцелярию генерал-губернатора А.Д.Горемыкина.

После принятия решения об отъезде в Сибирь, Корнилов писал Вернадским, не одобрявшим его намерение, что поступление на государственную службу является и для меня «несомненным компро-

миссом»: «Сперва я думал, что лучше ехать туда независимым пролетарием и заняться там частным путем изучением Сибири вообще и аграрным вопросом в частности, а также принять участие в местной журналистике. Но потом, по всем собранным о Сибири сведениям, я ясно увидел, с одной стороны, что в качестве частного лица, да еще с ничтожными средствами, трудно будет что-нибудь сделать по части изучения аграрного вопроса и вообще исследования страны; тогда как служба при известных условиях может мне дать возможность сделать то и другое... С другой стороны, после всех разговоров с сибиряками, я стал опять думать, что все-таки можно служить в Сибири, если не иметь при этом в виду делать карьеру и ничем себя не связывать, т.е. служить, так сказать, с готовым всегда прощением об отставке в кармане...».

Железнодорожное сообщение было в те годы только до Челябинска; далее до Кургана едущих по служебным делам возили в товарных вагонах (300 верст состав шел сутки). Потом приходилось ехать в почтовых экипажах (значительную часть года — в зимних санях). Вот так, через Ишим, Канск, с заездом в Барнаул (для знакомства с братом невесты), Томск и Красноярск — Корнилов с одним большим чемомданом, меняя прогонных лошадей, проехал, почти не задерживаясь, 3600 верст в почтовых санях. Путь из Москвы занял 17 дней, что поразило встретивших его иркутских коллег — они не ожидали нового чиновника так скоро.

А.А.Корнилов приехал в Иркутск 1 апреля 1894 г. Временно, до наема жилья, остановился в гостинице «Деко»: считавшаяся тогда лучшей в Иркутске, она показалась ему довольно грязной. Представившись родным невесты, он преподнес им подарок из столицы — ящик с 100 апельсинами, которые были в то время в Сибири большой редкостью. Невеста приехала в Иркутск летом. «Таля» тоже была незаурядным человеком: прекрасно музицировала, свободно переводила с французского, в начале 1890-х тоже работала в отряде по борьбе с голодом — в Самарской губернии.

Свадьба состоялась в Иркутске 17 октября 1894 г. Молодая чета Корниловых быстро освоилась в культурной жизни Иркутска и через небольшое время стала играть в ней, без преувеличения, определяющую роль. Именно по их инициативе в городе была организована бесплатная библиотека-читальня, существующая и по сей день. Мысль об ее открытии возникла еще в 1893 г. после неожиданной смерти в одной из экспедиций Александры Викторовны Потаниной — известной исследовательницы Монголии, Китая и Тибета. От средств, собранных на венки (Потанина была похоронена в Кяхте), осталось некоторое количество денег, и друзья решили положить их в основа-

ние капитала для читальни. Дело быстро двинулось вперед благодаря энтузиазму Корниловых. Поначалу городская дума выделила под библиотеку две комнаты в здании городской управы; вскоре открылось второе отделение уже в наемном помещении, в более демократической части города, «на Горе». Здесь позднее было построено и собственное здание библиотеки, которой было присвоено имя А.В.Потаниной.

В 1894–1900 гг. А.А.Корнилов служил в Иркутске чиновником для особых поручений при генерал-губернаторе А.Д.Горемыкине, занимался крестьянским вопросом, земским и переселенческим делом в Восточной Сибири. В Иркутске он стал членом Восточно-Сибирского отделения Императорского Географического общества, организатором «Общества попечения о распространении народного образования в Иркутской губернии», существенно расширил деятельность «Общества пособия учащимся Восточной Сибири» и «Комиссии для устройства народных чтений». Был он также участником местных либеральных кружков, редактором иркутской газеты «Восточное обозрение», основанной известным деятелем Н.М.Ядринцевым в Петербурге, принял активное участие в создании в Иркутске нового каменного театра (взамен ранее сгоревшего деревянного), был избран городской думой в число пяти директоров театра. 26 мая 1898 г. он выступил в театре с публичной лекцией о В.Г.Белинском (на 50-летие смерти литератора). Был Корнилов избран и гласным Иркутской думы, а когда городским головой стал купец В.В.Жарников, Корнилову было поручено председательствовать в тех случаях, когда, согласно Городовому положению, голова не имел права лично вести заседания (например, при утверждении городского бюджета).

В 1900 г. губернаторское место А.Д.Горемыкина занял А.И.Пантелеев, бывший до этого товарищем (заместителем) министра внутренних дел и руководил жандармами. Это принципиально меняло дело, и Корнилов практически сразу подал в отставку. Перед его отъездом друзьями было собрано по подписке 325 рублей на устройство прощального обеда в его честь. Корнилов от банкета отказался и просил передать деньги городской библиотеке, что и было затем закреплено решением городской думы.

В своих «Воспоминаниях» Корнилов так описал свое расставание с Сибирью: «Когда я приехал в Сибирь, я думал в ней остаться года три, не больше, а прожил целых семь лет. Семь лет в возрасте от 31 до 38 лет – большое дело! Но об этом я не жалел. Это были годы быстрого роста Сибири; прошедший через Сибирь железнодорожный путь сильно перевернул все занятия ее жителей. Мощное переселенческое движение в короткое время почти удвоило население Сиби-

ри, а проведенные в ней реформы — земельная и судебная — дали Сибири порядочных русских людей в большом числе. В прежнее время сибиряк, кончавший курс в университете, не возвращался в Сибирь, а теперь многие из чиновников были из сибиряков с высшим образованием. Русские люди, приезжавшие на службу в Сибирь, приезжали прежде главным образом нажить и назывались “навозными”. Это было очень характерно. Теперь русские чиновники в Сибири, служащие по судебному или земельному ведомству, отнюдь к этому не подойдут. Прожив в Сибири семь лет, я чувствовал, что пустил корни и что расстаться с Сибирью мне не так легко... Я чувствовал, что принес пользу Сибири, насколько вообще мы можем принести ее...».

После возвращения Корниловых в Санкт-Петербург на его имя стали приходить из Иркутска письма: предлагали выступить на выборах в городские головы Иркутска, стать редактором «Восточного обозрения». В свою очередь, начальник переселенческого управления Министерства внутренних дел А.В.Кривошеин предложил Корнилову должность чиновника по особым поручениям при министре. Открывающиеся перспективы работы с земствами (надо было держать связь с собраниями тех губерний, из которых шли переселенцы) заинтересовали Корнилова, и он, было, согласился...

Но 4 марта 1901 г. у Казанского собора мирная демонстрация молодежи была разогнана полицейскими нагайками. Участвовавший в манифестации Корнилов был среди инициаторов написания протестного письма, которое опубликовали несколько иностранных газет. Последовал арест: Корнилов отсидел двадцать дней в петербургской одиночной тюрьме, затем был выпущен с подпиской о невыезде. Решением министра внутренних дел ему было воспрещено жить в столичных губерниях и университетских городах. Тогда он принял предложение из Саратова, где известный либеральный земский деятель Н.Н.Львов приобрел газету «Саратовский дневник» и подыскивал сильного редактора. Фактически под руководством Львова, блестящего знатока аграрного вопроса, в Саратове сложился тогда своеобразный научно-издательский центр по проблемам реформаторства в аграрной сфере (именно в Саратове, например, была впервые издана знаменитая «Вымирающая деревня» молодого тогда А.И.Шингарева — будущего кадетского лидера, а потом и министра Временного правительства).

«Саратовский дневник» просуществовал недолго. В середине 1902 г. губернские власти приостановили издание и предписали Львову кардинально переменить состав редакции. Лишившись журналистского заработка, Корнилов, не без влияния того же Львова, возвра-

щается в Саратове к научной работе. Здесь он пишет ряд работ по истории крестьянской реформы, общественному движению в эпоху Александра II, истории декабристского движения. В 1904 г., получив, наконец, свободу передвижения, Корнилов посещает столицы, а затем уезжает в Париж к П.Б.Струве, которому помогает в редактировании оппозиционного неподцензурного журнала «Освобождение».

В это время у жены Корнилова, «Тали», обостряется туберкулез, и ее помещают в швейцарскую клинику. Несколько месяцев спустя она скончалась и была похоронена по православному обряду (был приглашен русский священник из Берна) на кладбище в Террите, с которого открывается прекрасный вид на Женевское озеро...

Между тем А.А.Корнилов, постепенно расширяя круг знакомств в российской политической и литературной среде, оказывается в самом центре либеральной общественной жизни. Он принимал активное участие в работе первых либеральных кружков («Беседы», например) и политических организаций (в первую очередь, знаменитого «Союза освобождения»). После дарования императором Высочайшего манифеста 17 октября 1905 г., фактически легализовавшего в России политическую деятельность, Корнилов принял активное участие в создании Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы), в которой вскоре был избран секретарем ЦК, отвечающим за все делопроизводство и формирование региональных организаций. Неоспоримо значение Корнилова-организатора в успешных избирательных кампаниях кадетской партии по выборам в I и II Государственные Думы. Его ключевая роль в партии еще более усилилась после создания в первых Думах крупных кадетских фракций: на плечи Корнилова, принципиально отказывающегося от депутатства, легла многообразная повседневная работа, ранее распределявшаяся между такими признанными организаторами (ставшими депутатами), как Д.Шаховской, И.Петрункевич, братья Петр и Павел Долгоруковы, М.Челноков и др.

Впечатляет даже самый краткий перечень формальных постов и функций А.А.Корнилова в кадетской партии: на Первом съезде (октябрь 1905 г.) он избирается в Бюро съезда, а затем в ЦК партии. На Втором съезде (январь 1906 г.) он уже в качестве секретаря ЦК делает основной доклад по организационным вопросам; на Третьем съезде (апрель 1906 г.) – доклад «О внепарламентской деятельности партии»; на Четвертом (сентябрь 1906 г.) – доклад по организационным вопросам; на Пятом (октябрь 1907 г.) – Отчетный доклад Центрального комитета за 1905–1907 гг... Помимо этого Корнилов возглавляет редакцию «Думского листка» – политического органа кадетской партии...

В 1908 г. он вторично женился — на младшей сестре его первой жены Екатерине. Когда, после рождения дочери, Корнилов сложил с себя обязанности секретаря ЦК и временно отошел от большой политики, Председатель кадетской партии князь Павел Долгоруков написал ему: «...Признаю логичность Вашей мотивировки к отставке. С другой стороны, нахожу Ваш уход из секретарей ужасным ударом по партии, так как, разумеется, никого подобного Вам не найдем...».

В 1908—1910 гг. Корнилов полностью посвящает себя преподавательской и научной работе: он читает курс российской истории XIX в. в Петербургском политехническом институте, в Педагогической Академии и на Высших коммерческих курсах М.В.Побединского. (Впоследствии «Курс» Корнилова принес ему широкую известность в научных и педагогических кругах: он неоднократно переводился в России, Англии, США.) В те же годы Корнилов-историк плодотворно занимается новыми темами: Отечественной войной 1812 г., эпохой Александра I, творчеством Михаила Бакунина и Александра Герцена.

В декабре 1915 г., на Шестом съезде кадетской партии Корнилов снова делает развернутый доклад об организационной деятельности партии (в течение двух с половиной часов!) и снова единогласно избирается секретарем ЦК. А после героической гибели на первой мировой войне лидера петроградских кадетов А.В.Колюбакина он становится еще и руководителем столичной партийной организации. Вспоминая те месяцы, Корнилов писал: «Моя работа в это время была так сложна и многообразна, что ее всего удобнее можно сравнить с беганием белки в колесе».

Действительно, в то время Корнилов успевал все: он участвовал во всех заседаниях кадетской думской фракции, руководил продовольственной комиссией ЦК партии, участвовал в работе нескольких других комиссий, был членом совета петроградского попечительства о бедных (в первую очередь, об инвалидах войны и семьях фронтовиков), членом Петроградского областного комитета по снаряжению армии. «Вследствие усиленной деятельности и, в особенности, вследствие непосильной мозговой работы, часто продолжавшейся до трех, до четырех часов ночи, — вспоминал Корнилов, — я и во сне продолжал обдумывать все те вопросы, которые обсуждал среди дня: засыпая, я продолжал думать все о них же, причем, переплетаясь в причудливые комбинации, мысли мои во сне, гораздо ярче, чем наяву, вырабатывали иной раз удивительные выводы, которые, однако, я потом никак не мог уловить... Увы, тогда я не чувствовал, что это были, может быть, предвестники постигших меня через несколько месяцев апоплексических ударов...».

После Февральской революции Корнилов, помимо активной работы в партии, был, как признанный знаток крестьянского вопроса, назначен сенатором Второго («крестьянского») департамента Сената. Тяжелейшая, не оставлявшая времени на отдых работа, при уже солидном возрасте, надломил его здоровье. В ночь с 2 на 3 июля 1917 г., прямо на заседании кадетского ЦК, рассматривавшего вопрос о выходе кадетских министров из состава Временного правительства, с Корниловым случился первый удар; через шесть дней – второй.

В сентябре он, сопровождаемый своим учеником, сыном В.И. Вернадского – Георгием Владимировичем (будущим выдающимся историком-эмигрантом) отправился с семьей в Кисловодск. Там Корниловы, несмотря на периодическую помощь друзей, бедствовали. Дочь Тала писала в своем детском дневнике: «Живем в одной комнате, правда, порядочной и теплой, но сырой. Все углы заплесневели...».

Очевидно, что и после окончательного поражения «белых» Корнилов не помышлял всерьез об эмиграции: мешало нездоровье, да и к тому же самые близкие и старинные его друзья (Дмитрий Шаховской, Сергей Ольденбург, Иван Гревс) остались в России, пытаясь сохранить элементы высокой культуры на обольшевиченной родине. В Кисловодске Корнилов зарабатывал лекциями в Народном университете; согревал ему душу и тот факт, что в 1918 г. его знаменитый «Курс истории России XIX века» был переиздан в России.

Летом 1921 г. А.А. Корнилов возвращается в Петроград, где продолжает читать лекции по отечественной истории в Политехническом институте. В 1922 г. он, совсем больной, окончательно оставляет службу и живет на мизерную пенсию. Он скончался в Ленинграде 26 апреля 1925 г.

...Старинный друг Корнилова, князь Дмитрий Иванович Шаховской, все последние годы своей жизни (он был расстрелян большевиками в 1939 г.) много хлопотал о бережном сохранении литературно-исторического наследия Корнилова – «для русской исторической науки и назидания подрастающего поколения». «Ведь это самое лучшее, что у нас есть в этой области, – писал Шаховской, – и надо непременно облегчить всячески использование этого для поколения, которое без сознательного понимания пройденного Россией за последние сто лет пути будет жалким болтуном и тягостным и для себя и для других грузом...».

ИВАН ПАВЛОВИЧ АЛЕКСИНСКИЙ:
**«Мы должны устранить этих безумных, слепых людей,
цепляющихся за власть...»**

Иван Павлович Алексинский родился 3 мая 1871 г. в селе Опарино Александровского уезда Владимирской губернии в дворянской семье. В 1889 г., после окончания гимназии в Москве, поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, однако через год, увлеченный недавно вышедшими «Дневниками» врача-гуманиста Н.И.Пирогова, перевелся на медицинский факультет. Жизнь и идеи Пирогова, основателя военно-полевой хирургии, участника обороны Севастополя, франко-прусской и русско-турецкой войн, выдающегося исследователя в области анатомии, прогрессивного общественного деятеля «эпохи великих реформ» и оригинального мыслителя, стали для юного студента-медика образцом для подражания. Среди любимых университетских профессоров Ивана Алексинского — другие крупнейшие ученые: анатом Д.Н.Зернов, физиолог Л.З.Молоховец, гистолог А.И.Бабухин, физик А.Г.Столетов.

В 1894 г. Алексинский с блеском завершил университетский курс и был оставлен при факультете для подготовки диссертации; одновременно он работает ординатором университетской хирургической клиники под руководством профессора А.А.Боброва. В 1895 г. происходит важнейшее для молодого ученого и врача событие: он становится врачом-консультантом Иверской общины сестер милосердия Красного Креста, с которой будет тесно связана его дальнейшая жизнь. В этом поступке также, несомненно, сказался пример Пирогова: ведь когда-то именно Н.И.Пирогов, при содействии великой княгини Елены Павловны, стал инициатором отправки в осажденный Севастополь первых отрядов «сестер милосердия» из петербургской Крестовоздвиженской и московской Никольской общин.

Иверская община Красного креста была открыта в Москве 19 декабря 1894 г. (в день тезоименитства восшедшего на престол императора Николая II) в честь известной в Москве святыни — чудотворной Иверской иконы Божьей Матери. Почетными попечителями общины стали дядя царя, генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович и его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна. На Малой Якиманке в Москве было приобретено и оборудовано двухэтажное здание; в октябре 1896 г. на территории общины был заложен храм в честь Иверской иконы Божьей Матери (освящен в апреле 1901 г.).

К 1897 г. относится первая крупная международная акция, организованная Иверской общиной, в которой самое активное участие принял молодой врач Иван Алексинский. В тот год началась греко-турецкая война из-за острова Крит, и Россия, вопреки ожиданиям, не поддержала на этот раз территориальные претензии Греции к Оттоманской Порте, выступив в качестве посредника между воюющими сторонами. Нейтральный статус России был подчеркнут серией действий, инициированных из самого близкого окружения императора. В середине апреля 1897 г. великий князь Сергей Александрович поручил своему адъютанту, штабс-капитану В.Ф. Джунковскому возглавить санитарный отряд Иверской общины на турецкую сторону военных действий (аналогичный отряд был организован в Санкт-Петербурге для работы на греческой стороне). Старшим врачом московского отряда стал приват-доцент Императорского университета, доктор медицины И.П. Ланг; в списке врачей значился и «лекарь-добронец» Иван Павлович Алексинский.

23 апреля в помещении Общины в присутствии великой княгини Елизаветы Федоровны был отслужен напутственный молебен; ее Высочество благословила каждого из отъезжающих образком Иверской Божьей Матери. Московский санитарный отряд добрался на поезде до Одессы, потом на пароходе «Королева Ольга» — до Стамбула, а затем был переправлен в район Фарсалы (Фессалия), где тогда начались тяжелые бои. Очевидец писал: «Турецкие командиры смотрели на солдата как на машину; стоило ему быть раненым, он становился уже бесполезен, и его бросали... Медицинскую помощь туркам оказывали французские доктора. Главный французский врач Ларди сам ездил на поле сражения перевязывать раненых, поскольку больше этим никто не занимался. ...Своих перевязочных пунктов у турок не было... Для русского госпиталя был предоставлен дом греческого наследного принца... Через некоторое время в доме уже не было свободного места, раненых стали класть в саду и просто на улице, где

многим пришлось провести сутки и более. Раненые, которых уже в первый день привезено было более трехсот, буквально лежали друг на друге, пол был залит лужами крови, по дому чувствовался гнило-стой запах. Весь первый день в трех комнатах дома шла перевязка и ампутации. Все без исключения члены русского отряда переносили раненных, держали их во время операций, кормили. Не привыкшие к такой заботе турецкие солдаты необычайно ценили всякое проявление внимания к ним и были преисполнены благодарности...».

В начале июня 1897 г., когда бои под Фарсалой затихли, госпиталь был свернут и санитарный отряд переведен в Стамбул, где русские врачи были встречены как герои: турецкий султан предложил им стать его личными гостями. Работа продолжалась в стамбульских госпиталях, куда теперь перевозили раненых. В эти дни главный врач отряда Иван Петрович Ланг заразился от раненых тифом и вскоре скончался. Тяжело переболел тифом и Иван Алексинский.

В Москву отряд вернулся в середине июля 1897 г.; И.П.Алексинский был награжден орденом св. Анны 3-й степени. В числе его наград были также греческие Золотая и Серебряная медали Илитаза и почетная турецкая Серебряная медаль: их наличие через двадцать лет, после эвакуации белой армии П.Н.Врангеля в Константинополь, будет открывать ближайшему соратнику Врангеля, старшему товарищу (первому заместителю) председателя «Русского Совета» Ивану Алексинскому двери самых влиятельных домов и канцелярий.

В 1900 г. состоялась новая командировка врача Алексинского на театр военных действий. Русские войска, выполняя межгосударственное соглашение, участвовали тогда в подавлении Ихэтуаньского («боксерского») восстания в Китае. Летом санитарный отряд под руководством Алексинского, теперь уже доктора медицины и приват-доцента, был отправлен в Забайкалье и развернул лазарет в Благовещенске; в сентябре отряд был переправлен в Хабаровск. Вернувшись в начале 1901 г. в Москву И.П.Алексинский был награжден орденом св. Анны 2-й степени. (Интересно, что в те месяцы под началом Алексинского на русско-китайской границе работал его младший товарищ по хирургической клинике профессора Боброва Николай Сергеевич Коротков, впоследствии прославившийся работами по артериальному давлению. Пути друзей потом кардинально разошлись: в отличие от одного из лидеров белой эмиграции Алексинского, Николай Коротков примкнул к большевикам, работал главврачом Мечниковской больницы в Москве и скончался от туберкулеза в 1920 г.).

Вернувшийся для отдыха в родное Опарино, молодой герой-фронтовик Алексинский избирается в Александровское уездное земство, работает земским гласным два срока, до 1906 г., когда произой-

дет взлет его политической биографии. Пока же он продолжил врачебную карьеру в Москве — в качестве приват-доцента медицинского факультета Московского университета и заведующего отделением факультетской хирургической клиники.

После объявления императорского Манифеста 17 октября 1905 г. и начала формирования в России политических партий И.П.Алексинский примыкает к конституционным демократам (Партии народной свободы). Весной 1906 г. он избирается депутатом Первой Государственной Думы от родной губернии; вместе с ним от владимирских кадетов в Думу проходят известные общественные деятели М.Г.Комиссаров и К.К.Черносвитов.

Тридцатипятилетний депутат от Александровского уезда не затерялся среди корифеев Первой Думы: три раза Иван Алексинский выходил на думскую трибуну, и все три раза это были серьезные концептуальные выступления, имевшие большой резонанс. В первый раз Алексинский включился в дискуссию, связанную с подготовкой «ответного адреса» Думы на тронную речь императора. Содержание и стилистика этой речи заставляют предполагать, что она вряд ли была согласована с лидерами кадетской фракции. Действительно, в проекте «ответного адреса», подготовленного в основном кадетами, ничего не говорилось о некоторых важных сторонах русской жизни: например, о внешней политике, состоянии армии и флота и пр. Формально это объяснялось тем, что эти (и некоторые другие) важнейшие сферы были выведены, в соответствии с «Основными законами Российской Империи», из компетенции народного представительства и определялись исключительно царем. С этим, однако, не могли согласиться некоторые либеральные депутаты. Так, лидер Партии демократических реформ профессор М.М.Ковалевский посчитал необходимым очертить в «ответном адресе» хотя бы главные принципы внешней политики теперь уже конституционного (хотя и монархического) государства. Проблематику же армии и флота взял на себя близко знавший предмет владимирский депутат Иван Алексинский.

В своем выступлении 3 мая 1905 г. Алексинский отметил, что ему непонятны «умолчание в ответном адресе по одному из важнейших вопросов государственной жизни» и «забвение о целом классе русского народа, живущем в особенных условиях, настоящее положение которого никоим образом не может быть признано нормальным». По мнению Алексинского, вопрос об армии и флоте — принципиальный для текущего момента. Он напомнил, что политический кризис и революция, давшие России и Конституцию, и Думу, стали прямым следствием краха военно-бюрократического режима, позорно про-

игравшего русско-японскую войну. «Порт-Артур, Ляолян, Мукден, Цусима — все это преступления военной бюрократии», — заявил с думской трибуны Алексинский. А потому, отметил он, «мы не можем оставить без особого внимания то ведомство, в котором как раньше, так и в настоящее время царит в полной силе ненавистный бюрократический режим, о ведомство, где под покровом этого режима и военной дисциплины произвол и насилие узаконены, где содеяно много преступлений против народа».

«В чем же гарантия того, что в будущем в военном и военно-морском ведомстве будут изменения к лучшему, что народные деньги будут расходоваться действительно на то, на что они ассигнованы? — поставил вопрос Алексинский. — Где гарантии того, что Монарху будет докладываться министрами истинное положение дел?». По мнению оратора, единственная гарантия реформирования армии и флота — их перевод под контроль народного представительства. «Народ, дающий трудовые деньги на содержание армии, должен знать, на что и как расходуются эти деньги; народ, посылающий в ряды армии своих сыновей, имеет право заботиться об их дальнейшей судьбе... Опыт последней войны показал с очевидностью, как мало ценила военная бюрократия жизнь офицеров и солдат как на суше, так и на море; в жертву преступной неподготовленности к войне было принесено множество молодых жизней...».

Преступный проигрыш войны — прямое следствие преступного отношения к армии, ее использования во внутривластных целях: «Мы видели разгром русской армии на Дальнем Востоке, и в то же время мы видели здесь, как военная бюрократия посылала солдат — сынов народа — расстреливать народ, шедший к своему Царю; такие расстрелы шли во многих городах, во многих концах России. Господа депутаты, для возрождения нашей армии, для восстановления ее связи с народом она должна находиться в ведении народа». Депутат-фронтвик Алексинский предложил существенно дополнить «ответный адрес» монарху указанием на необходимость немедленной реорганизации военно-морских ведомств и их подконтрольности Государственной Думе: «Для поселения в армии истинных представлений о правах народа, о долге солдата-гражданина перед отечеством, для внесения в армию общего и специального образования необходимо военное и морское министерства подчинить народному контролю...».

По мнению депутата, волнения в войсках в Кронштадте, Москве, Киеве, Севастополе, Владивостоке, Красноярске, Харбине и других городах свидетельствуют не только о необходимости «укрепления дисциплины» (о чем не уставало твердить высшее военное руко-

водство), но прежде всего — о необходимости «упорядочивания правовых отношений»: «Дисциплина необходима, но она должна жить на сознании долга перед народом, а не только на одном страхе. Если дисциплина поддерживается только страхом, если солдатам приказывают расстрелявать родной народ, заставляют быть палачами его под угрозой быть расстрелянными самими, тогда дисциплина становится невыносимой. Я думаю, что этим обуславливается так называемая деморализация армии. Я думаю, что это не деморализация, а пробуждение сознания того, что солдаты — дети своей родины, что интересы народа дороги солдату, что права народа дороги солдату...».

В стенограмме думского заседания после этой сильной речи Алексинского нет привычной пометки «*аплодисменты*». И вряд ли это упущение стенографистов. Умеренных депутатов не могла увлечь беспощадная критика полицейско-бюрократического режима. Что же касается радикального большинства Думы, то для него армия была одним из самых, мягко говоря, непопулярных государственных институтов и брать ее под защиту (даже от того же самого «режима») было весьма рискованно. Так или иначе, поправки Алексинского так и не вошли в окончательный текст «ответного адреса» — возможно, именно в подобных эпизодах и накапливались аргументы в пользу последующего расхождения Алексинского с кадетами. Очевидно другое: потомственный дворянин Алексинский, в чьем роду было немало военных, который сам познал тяжелую жизнь армии, через всю свою биографию пронес глубокое уважение к военному сословию. Это впоследствии ярко проявится в его деятельности в «белом движении», а затем и в эмиграции.

Следующее выступление Алексинского в Думе связано с разгоревшейся полемикой вокруг депутатских запросов членам правительства. 8 июня перед депутатами выступили главы министерств юстиции и внутренних дел И.Г.Щегловитов и П.А.Столыпин. Столыпин, в частности, заявил, что существующие законы надо, наверное, совершенствовать, но пока следует четко применять существующие законы. Он даже привел такую метафору: «Нельзя сказать часовому: у тебя старое кремневое ружье; употребляя его, ты можешь ранить себя и посторонних; брось ружье. На это честный часовой ответит: покуда я на посту, покуда мне не дали нового ружья, я буду стараться умело действовать старым...».

Многие депутаты восприняли объяснения Столыпина как попытку уйти от содержательного ответа на депутатские запросы. Взявший 9 июня слово Алексинский вступил в прямую полемику с министром, по-своему проинтерпретировав столыпинскую метафору о «часовом

и старом ружье»: «Господа министры вчера подтвердили, что хотя у них и негодные ружья, но они будут стоять на своем посту, потому что поставлены здесь». Алексинский объявил «бессмысленной» дальнейшую переписку с министерствами, которые фактически проигнорировали уже более сорока запросов депутатов. «...Мы сюда пришли не для словесного турнира с господами министрами и не для поучения их, — заявил Алексинский. — Мы пришли сюда заявить волю народа, до сих пор еще не исполненную, мы пришли сюда для того, чтобы завоевать ту свободу, которой еще нет, и завоевать те права народа, которых еще нет...». Депутат сообщил, что ему идут и идут письма («приговоры») из родного Александровского уезда, в которых крестьяне «клянутся поддерживать Думу, поддерживать представителей своих требований, каких бы жертв это ни стоило». Вся вина за гражданскую конфронтацию в России лежит на исполнительной власти, которая сама провоцирует массовые волнения. Единственный способ избежать новых опасностей — радикально обновить состав правительства, поставив его под контроль парламента: «Господа, в своем стремлении к мирному осуществлению реформ в России мы должны употребить все усилия на то, чтобы устранить с мирного пути реформ те препятствия, которые стоят на нем; и главное препятствие я вижу в том, что исполнительная власть, не пользующаяся доверием народа, остается у власти... Государственная дума должна воспользоваться своим правом, она должна обратиться к Монарху, которому, вероятно, неизвестно истинное положение страны... Я предлагаю объявить Верховной власти об истинном положении вещей, заявить от имени Государственной Думы о необходимости для сохранения спокойствия России и предотвращения грядущих бедствий устранить теперешнее министерство, повторить, что только министерство, которое пользуется доверием Государственной Думы, способно вселить народу уважение к правительству (*аплодисменты*)».

В аналогичном ключе выдержано и третье (и, как оказалось, последнее) выступление И.П.Алексинского в Первой Государственной Думе от 19 июня 1906 г. Поводом к этому выступлению явилась речь в Думе главного военного прокурора генерал-лейтенанта В.П.Павлова, которого Дума считала одним из главных виновников незаконных репрессий и которого парламентарии (точнее их кадетско-трудовическое большинство) фактически согнали с трибуны, устроив ему обструкцию. Некоторые влиятельные «октябристы» (граф П.А.Гейден, князь Н.С.Волконский) в свойственной им снисходительно-увещательной манере попытались умерить пыл своих более молодых и радикальных коллег-депутатов, призвать думцев к корректности в

отношении представителей императора, мотивируя это опасностью нового обострения напряженности в стране. Алексинский резко возразил октябристам, заявив, что конфронтацию провоцируют как раз утратившие остатки общественного доверия министры: «Мы слышали сейчас замечания, что тем, что мы не даем говорить Павлову и подобным, что тем, что мы их «топим», мы этим угрожаем призраками кровопролития в стране. Эти слова несправедливы; напротив, все наши усилия направлены для проведения реформ мирным путем; мы должны приложить все усилия к тому, чтобы устранить эти препятствия, устранить этих безумных, слепых людей, которые цепляются за власть и которые не могут привести в исполнение то, что требует воля народа. Нет, господа, я говорю, наш долг, главный наш долг — не удерживать их и именно настоять на том, чтобы они ушли с тех мест, которые занимают не по праву и против воли народа (*аплодисменты*)».

Как известно, Первая Государственная Дума просуществовала всего 72 дня. После ее роспуска и принятия в Выборге антиправительственного «Воззвания» И.П.Алексинский был привлечен к дознанию в качестве обвиняемого по 129 ст. Уголовного уложения и был отдан под особый надзор полиции. Со своей стороны, не удовлетворенный политикой конституционных демократов, Алексинский отказался сотрудничать с кадетами на выборах во Вторую Думу и в конце 1906 г. вступил в либерально-народническую «Народно-социалистическую партию». (После объединения «энесов» с «трудовиками» он был избран членом ЦК объединенной Трудовой Народно-социалистической партии).

После недолгого парламентского опыта Алексинского более привлекает научно-педагогическая карьера. В июле 1907 г. он, наконец, назначается экстраординарным профессором по кафедре хирургической патологии Московского университета, а в декабре того же года занимает должность главного врача Иверской общины Красного креста. Его авторитет в российской медицинской среде неуклонно растет: Алексинский избирается членом правления Общества российских хирургов.

В начале 1911 г. по инициативе премьер-министра П.А.Столыпина и министра образования Л.А.Кассо начинается правительственный поход против «университетской вольницы»: правительство посчитало именно студенческую среду главным источником все еще сохраняющейся крамолы. Во все университеты был разослан циркуляр, предписывающий «принять меры для установления действительного надзора за учащимися»; далее следовало предупреждение, что неисполнение этих требований «приведет общегосударственную

власть к необходимости принятия особых мер к упорядочению внутренней жизни высших учебных заведений». Временно запрещались все собрания на территории университетов, что наносило удар не только по принципам их автономии, но и было равнозначно запрещению всех, даже легальных, студенческих организаций. Волнения молодежи усилились, и на территорию некоторых университетов была введена полиция.

28 января ректор Московского университета А.А.Мануйлов и его заместители П.А.Минаков и М.А.Мензбир подали в отставку. В ответ высочайшим указом все трое были не только уволены с постов, но и отрешены от профессорских должностей. 3 февраля в знак солидарности подали в отставку несколько выдающихся профессоров Московского университета (В.И.Вернадский, Н.А.Умов, В.А.Хвостов, С.А.Чаплыгин, Г.Ф.Шершеневич, Д.М.Петрушевский, А.А.Эйхенвальд) и большая группа приват-доцентов. В их числе подал в отставку и профессор медицинского факультета И.П.Алексинский. Свою преподавательскую работу он продолжил на медицинском отделении Высших женских курсов (здесь, кстати, училась пошедшая по стопам отца любимая дочь Алексинского — Надежда), сочетая профессорскую деятельность с активной практикой в больнице Иверской общины. Большую известность в Москве получила и частная хирургическая клиника Алексинского. В 1913 г. он председательствовал на 8-м съезде российских хирургов.

В начале первой мировой войны И.П.Алексинского призвали на военную службу: он заведовал медицинской частью Красного Креста сначала на Юго-Западном фронте, а затем в тыловых частях, активно работал в качестве главврача клиники Иверской общины, превратившейся, по сути дела, в военный госпиталь. После Февральской революции Алексинский вернулся в Московский университет и был зачислен на должность профессора по кафедре хирургической патологии. Вскоре на него были возложены еще и обязанности директора андрологической клиники. Когда в начале октября 1917 г. низший медицинский персонал московских больниц и клиник, подпавший под влияние большевистских агитаторов, объявил забастовку, Алексинский решительно выступил против, считая бесчеловечным отказ санитаров оказывать помощь больным и раненым.

И.П.Алексинскому довелось сыграть активную роль в деле сопротивления большевистскому перевороту в Москве в октябре-ноябре 1917 г. Как известно, главную силу этого сопротивления составила московская молодежь: юнкера Александровского и Алексеевского училищ, учащиеся школ прапорщиков и кадетских корпусов, гимна-

зисты старших классов, студенты, курсистки. Руководил антибольшеви́стской борьбой «Комитет общественной безопасности» во главе с председателем московской городской думы, городским головой доктором В.В.Рудневым. (В 1900—1902 г. Руднев учился в Москве на медицинском факультете и, в том числе, посещал лекции и семинары тогда еще приват-доцента Алексинского; доучиваться Рудневу — после ареста и ссылки — пришлось уже в швейцарском Базеле.) В эти драматические дни врач Алексинский снова оказался «на передовой», прошедшей на этот раз через центр Москвы: его частная клиника, равно как и больница Иверской общины, были превращены в госпитали; Алексинский ежедневно лично делал сложные операции...

2 ноября 1917 г., после кровопролитных боев, «Комитет общественной безопасности» капитулировал; на следующий день отряды большевистского Военно-революционного комитета вступили в Кремль. Начались репрессии, приостановить которые на непродолжительное время смог проходивший тогда в Москве Поместный Собор Русской православной церкви, избравший своего Патриарха. На заседании Собора 11 ноября было оглашено следующее обращение: «Священный Собор во всеуслышание заявляет: довольно братской крови, довольно злобы и ненависти... Победители, кто бы вы ни были, и во имя чего бы вы ни боролись, не оскверняйте Россию пролитием братской крови, умерщвлением беззащитных, мучительством страждущих...».

Благодаря посредничеству Церкви, 13 ноября удалось провести похороны жертв большевистского переворота. В девять часов утра в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот началось отпевание. Надгробную речь произнес митрополит Евлогий (Георгиевский). В своих мемуарах он потом напишет: «Помню тяжелую картину этого отпевания. Рядами стоят открытые гробы. ...Весь храм заставлен ими, только в середине — проход. В гробах покоятся, словно срезанные цветы, молодые, красивые, только что расцветшие жизни: юнкера, студенты. У дорогих останков толпятся матери, сестры, невесты... Я был потрясен. В надгробном слове я указал на злую иронию судьбы: молодежь, которая помогала политической свободы, так горячо и жертвенно за нее боролась, готова была даже на акты террора, пала первой жертвой осуществившейся мечты...».

Около полудня все улицы, прилегающие к Никитским воротам, были запружены народом. Трамвайное движение было перекрыто. Траурную процессию возглавили архиереи и хор певчих; за ними на руках несли некрашенные гробы, накрытые только еловыми ветками и скромными букетами белых хризантем. Венков не было. Погода в тот день, по рассказам участников, была ужасной: пронизывающий

ветер, мокрый снег, слякоть. ...Вдоль Тверского бульвара, через Страстную площадь и далее по Тверской улице и Петроградскому шоссе огромная процессия направилась на кладбище села Всехсвятского (в районе нынешних Песчаных улиц). Это было известное в Москве братское кладбище для воинов, павших в войну 1914 г. и для «сестер милосердия» московских общин Красного Креста, созданное в начале мировой войны по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны. Иван Павлович Алексинский сказал речь на траурном митинге; вторую речь произнес низложенный большевиками городской голова В.В.Руднев. (Сегодня на сохранившемся участке кладбища у храма Всех Святых рядом со станцией метро «Сокол» можно увидеть мемориальный крест с надписью: «Юнкера. Мы погибли за нашу и вашу свободу».)

Спустя несколько месяцев после большевистского переворота до Москвы начали доходить подробности мученической гибели членов императорской фамилии. Особую боль у Алексинского вызвало известие о зверском убийстве великой княгини Елизаветы Федоровны (она была живой сброшена чекистами в старую шахту под Алапаевском) — покровительницы Иверской общины и личного друга Алексинского, которая неоднократно ассистировала ему простой медсестрой при хирургических операциях. (После занятия белыми войсками района убийства останки Елизаветы Федоровны были переправлены в Пекин, а затем в Иерусалим, где были погребены в усыпальнице Святой Равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы. В 2004–2005 г. нетленные мощи святой Преподобномученицы Елизаветы Федоровны в течение семи месяцев торжественно перевозились по городам России; в церемониях приняли участие более 10 млн верующих.)

В начале 1919 г. И.П.Алексинский выехал из Москвы на Юг в расположение Добровольческой армии А.И.Деникина; работал в качестве хирурга в военных госпиталях. В конце 1920 г. вместе с отступающими войсками П.Н.Врангеля эвакуировался из Крыма в Константинополь. В первые годы эмиграции он снова активно занялся политикой. И.П.Алексинский стал одним из ближайших политических соратников и личных друзей генерал-лейтенанта барона П.Н.Врангеля, был членом «Политического объединенного комитета», затем вошел в состав «Русского совета».

«Русский Совет», по замыслу Врангеля, призван был осуществить «преемственность русской власти в единении Главнокомандующего с общественными силами, представляющими русскую национальную мысль». При этом, в соответствии с «Воззванием», издан-

ным в штаб-квартире Врангеля на стоящей в константинопольской бухте яхте «Лукулл», создание «Русского Совета» должно было «исключить возможность навязать будущей России всякое единоличное решение, решение, не поддержанное русской национальной мыслью». «Русский Совет» открылся 5 апреля 1921 г. в зале русского посольства в Константинополе. Один из участников заседания, В.В.Шульгин, позднее вспоминал: «Ambassade de Russie <Русское посольство>. Там есть шикарный вестибюль с белыми колоннами. Так вот там это было... Торжественный молебен. Архиерейское служение. Народом (и каким — elite!) залито всё между колоннами, и даже величественная лестница в цветах... Голос диакона, журчащего священные слова, словно из глубины Китеж-Града; золототканая парча, говорящая о сказке, Боге и Родине; кафельный дым — как струящаяся молитва, и звуки молитвы, как кафельный фимиам... Стройные ряды молодых лиц, и высоко над ними и над всеми изящный профиль Главкома... И кругом все... все, кто верует в Бога и Россию... и даже некоторые неверующие... Потом началось заседание. Торжественное заседание. За столом, крытым сукном, — только что родившийся Русский Совет; кругом — приглашенные... Речи... Вот речь Главкома. Главком (на звук) говорит смесью светского человека и фронтовика. Выговор салонный, а фразы скандируются в короткие и протяжно заканчивающиеся возгласы — чтобы далеко было слышно и рядом... Пока идет спокойное изложение, доминирует “светскость”... Затем, когда начинаются призывы к сопротивлению... к мужеству... к борьбе... фронтовые нотки явственно врываются в “салонность”... Пахнет штыками, длинными рядами замерших войск, шелестящими знаменами, нависшими, как приближающийся прилив, «ура»... — Здорово, орлы! Да поможет Бог всем нам и России!..».

В «Русский совет» вошли избранные представители от бывших членов обеих палат парламента (И.П.Алексинский, граф А.А.Мусин-Пушкин), от земских деятелей (М.Ф.Малинин, В.Знаменский), от союзов торговли и промышленности (Н.А.Ростовцев, Т.А.Шамшин). Состав избранников был дополнен «членами по назначению», которые были делегированы в Совет лично бароном Врангелем: В.В.Шульгин (монархист, условно от «правых»), князь Пав. Д.Долгоруков (кадет, от «центра»), Г.А.Алексинский (бывший социал-демократ, однофамилец И.П.Алексинского, — от «левых»). С совещательным голосом в Совет вошли генералы врангелевской армии — Кутепов, Фостиков, Кусонский и др. Впоследствии Совет был дополнен такими видными общественными деятелями, как Н.Н.Львов и А.И.Гучков.

Иван Павлович Алексинский был избран «старшим товарищем» (первым заместителем) Председателя Совета П.Н.Врангеля. В своей большой речи Алексинский отметил, что создание «Русского Совета» совпало с четырёхлетней годовщиной начала русской революции, «ставившей Россию, как хотелось верить тогда, на путь свободного развития ее творческих сил и приведшей ее к распаду и разрушению и к позорному порабощению русского народа интернациональной шайкой безумцев и преступников». Итоги революции, по мнению Алексинского, стали катастрофическими для России: «Вместо мощного роста производительных сил страны — обнищание, вместо дружного объединения сил народа на творческой общественной и государственной работе — небывалая по жестокости гражданская война, вместо свободного народовластия — гнусная тирания... На плодородной почве бывшего политического бесправия, административного гнета, поражающего экономического неравенства и утомления войной щедро посеянные семена классовой вражды дали пышные всходы личных, групповых и классовых требований, заслонившие интересы общенародные и общегосударственные».

В речи на открытии «Русского Совета» ярко проявился специфический ораторский стиль Алексинского — врача и политика в одно и то же время. Его «фирменный знак» — метафоричность в описании задач антибольшевистской борьбы как сложной, почти хирургической операции, призванной спасти находящуюся на краю гибели Россию. Эгоизму и некомпетентности лидеров враждебных политических партий он противопоставляет необходимость объединения под единым руководством антибольшевистских сил и сохранения армии, как главных инструментов борьбы за возрождение России: «Бесмысленные старания навязать великому народу свою партийную программу, безумный и преступный опыт насильственного социального переворота довели почти до предсмертной агонии государственный организм России. Ее могучий организм долго и напряженно боролся со злой заразой разрушения, и мы были свидетелями упорной борьбы во имя спасения от гибели русского государства... Но и с отходом последней русской армии с родной земли не окончилась борьба за жизнь России, и даже в том состоянии агонии, в котором пребывает она в настоящее время, недопустима для русского сознания утрата надежды на победу жизни над смертью. ...Однако и до настоящего времени среди русских граждан, потерявших русскую землю, продолжают партийные трения. И до сих пор не замолкли голоса тех, кто партийные интересы ставит выше русского дела, и на почве партийных дрязг и трений вырастают такие уродливые явления, как исходящие от рус-

ских людей требования распылить армию». Свою речь Алексинский закончил еще одним образным сравнением, вызвавшим овации участников: «Много веков назад, в первые дни русской истории, когда русский народ находился во мраке невежества и идолопоклонства, он приносил своим свирепым богам человеческие жертвы. С берегов Босфора проник в Россию свет христианства. Теперь, когда русское государство разрушено и русский народ вымирает от голода, холода и истребления, приносится в жертву идолу Интернационала, — в это время на берегах Босфора возникает Русский Совет».

Вошедший в «Русский Совет» известный политический деятель В.В.Шульгин рассказал в мемуарах о своих тогдашних ожиданиях от этого предприятия: «Я относился вначале к этому начинанию несколько скептически. Мне осточертели всякие Совдепы, Комиссии, Совещания — просто, и “особые” в особенности, — словом, всякое заведение, где творится что-то скопом... Мне хотелось бы, чтобы мир управлялся так. Три лица... 1) *Тот, кто думает*. Человек, которого никто не знает. “Серый кардинал”, старик, прикованный к постели... Вся жизнь сосредоточилась в мозгу, совершенно необыкновенном, и в сердце, еще более удивительном. Он обдумывает, обчувствует, что надо сделать... 2) *Тот, кто приказывает*. Глава правительства, железный канцлер. Он приводит в исполнение все, решенное старцем. 3) *Тот, кто говорит*. Словоизвергатель. Делатель общественного мнения посредством печати и производства выборов. Он подсказывает народу решенное умным и добрым стариком...». К подобным людям в прошлом Шульгин относил убитого премьера Столыпина, в котором «совмещались все три качества: думал, приказывал, говорил...». Беда русской революции состояла, по мнению Шульгина, в том, что она не смогла выдвинуть людей этого типа: «Князь Львов не умел ни думать, ни приказывать, ни говорить. Керенский умел только говорить. Ленин умеет приказывать и говорить, но совершенно не способен думать — он очень упрямый дурак или сумасшедший...». «Если в Русском Совете, — подытоживает Шульгин, — найдутся три лица, способных выполнить эти три задания, то такой Русский Совет я бы понял: думающий, приказывающий, говорящий...».

При всей кажущейся вычурности размышлений Шульгина в них имеется рациональное зерно и даже большая доля исторической правды. По общему мнению современников, если кто в «белом движении» и мог претендовать на роль «железного канцлера», то это, несомненно, был барон П.Н.Врангель, обладавший «инстинктом власти» и пользовавшийся непререкаемым авторитетом у подчиненных... На роль «мудреца» в эмиграции одно время выдвигался престарелый ве-

ликий князь Николай Николаевич, дядя последнего императора... Что касается роли «словоизвергателя» и «делателя общественного мнения» в этой «тройке», то обычно считается, что она и в белом движении, и в эмиграции так и осталась вакантной.

Действительно, талантливый Петр Бернгардович Струве, министр иностранных дел во врангелевском правительстве юга России, отлично умел «формировать мнение» у своих партнеров по союзническим консультациям. Как блестящий публицист и редактор влиятельной газеты «Возрождения», он, несомненно, был авторитетом и для некоторой части праволиберальной и умеренно-монархической эмиграции. Однако как оратор Струве, по общему мнению, был весьма косноязычен и зачастую терялся при публичных выступлениях.

Еще менее на роль «словоизвергателей» и «делателей общественного мнения» могли претендовать такие штатные врангелевские пропагандисты, как Николай Николаевич Чебышев — начальник бюро печати при Врангеле или Григорий Александрович Алексинский — однофамилец Ивана Павловича, авантюрного склада человек, бывший меньшевик, прибывший к «белым» и даже отвечавший одно время за пропаганду в «Русском Совете». Это были по-своему талантливые люди, в чем-то даже «идеологи», но скорее все-таки «технологии пропаганды»...

Рискну предположить, что именно экс-депутат Первой Думы, профессор-хирург Иван Павлович Алексинский более, чем кто-либо, приблизился к искомой роли «Третьего», о которой так образно говорил Шульгин. Иван Алексинский, судя по многим свидетельствам, обладал уникальным умением находить общее между самыми разными кругами очень конфликтной эмигрантской элиты: здесь, несомненно, сыграли роль и его личный авторитет врача (у него ведь лечились все — от эсеров до ультрамонархистов), и партийная неангажированность (с «народными социалистами» он давно разошелся). Но еще большее значение имела казавшаяся многим необъяснимой способность Алексинского влиять на настроения массовых слоев эмиграции.

Апогеем успеха Ивана Алексинского в этой смысле стало его большое «пропагандистское турне» по русским эмигрантским колониям летом-осенью 1923 г. с целью сплочения эмиграции вокруг генерала Врангеля. Алексинский посетил тогда Сербию, Болгарию, Чехию, Францию, Германию... Он, безусловно, обладал ораторским даром, а главное, тем, что сейчас принято называть «харизмой». Причем «харизмой» в изначальном, древнем значении этого слова — «чудесным, спасительным даром». Выдающийся хирург (сделавший, по его собственным приблизительным подсчетам, не менее тридцати

тысяч операций), он умел магнетически воздействовать на людей. А если учесть, что поездки Алексинского по русским колониям сопровождались открытием больничных пунктов (где он лично оперировал) и новых общин Красного Креста, то становится понятным, почему такой чуткий политик и откровенный оппонент т.н. «врангелевщины», как левокадетский лидер П.Н.Милюков, всерьез беспокоился. Свидетельство тому — целая серия полутревожных, полудражженных статей и фельетонов в милюковской газете «Последние новости». Рациональный политик, Милюков вполне понимал, как бороться с либерал-консерватизмом Струве или ультрамонархизмом Крупенского или Маркова 2-го. Милюков знал, что на слово можно ответить словом, а чужой газете противопоставить свою газету. Но он явно растерялся, увидев оппонента в лице политика-врача, демонстрирующего не силу тактического мышления, не тонкость политической интриги, а бесконечную личную веру и наглядные чудеса лекарского искусства. (В эмиграции, конечно, позднее высказывались и иные мнения по поводу «политического максимализма» Алексинского — они особенно окрепли в эпоху окончательного краха антибольшевистских иллюзий. Так, в 1943 г. епископ Вениамин, возглавлявший когда-то военное духовенство врангелевской армии, дал такую оценку своему бывшему коллеге по «Русскому Совету»: «Заместителем Врангеля был известный профессор Московского университета, хирург Иван Павлович Алексинский. Он и потом еще долго верил в поражение и разложение большевиков в России, выпуская даже какой-то журнал или газету в этом смысле, а при встрече в Ницце в 1926 г., когда я уже отошел от армии и политики, он пытался убедить меня в своей правоте: вот еще несколько месяцев, и “они” падут. ...С тех пор прошло 17 лет, но надежды его не сбылись. Блестящий хирург,.. он был сам обычным обывателем в политике и, думаю, не своим делом занялся тут. Да и вообще, как и на Юге России, не оказалось за границей мудрых и прозорливых политиков. По-прежнему мы шли в хвосте истории, а не провидели будущего...». Не исключено, впрочем, что, высказывая эти тяжелые для антибольшевистской эмиграции суждения, Вениамин уже подумывал о возвращении в Советскую Россию, что вскоре и последовало.)

...А пока, в 1923 г., игра русской антибольшевистской эмиграции еще не казалась окончательно проигранной. И.П.Алексинский стал в те месяцы одним из главных инициаторов союза между генералом Врангелем (еще остававшимся с армией на Балканах) и уединенно проживавшим на своей вилле на Лазурном берегу Франции Великим князем Николаем Николаевичем — дядей последнего царя и бывшим

Верховным главнокомандующим русской армии в годы мировой войны. Сама международная обстановка подталкивала к такому союзу: в 1922 г. Советскую Россию признала Германия, в 1923 г. — Италия; намечалось признание Советов Англией и Францией (это произойдет в 1924 г.). А после того, как эмиссары барона Врангеля потерпели фиаско во время поездки в США, где «белому движению» было также фактически отказано в поддержке, Врангель принял, наконец, принципиальное решение: в декабре 1923 г. он издал предписание № 04109, в котором объявлялось, что его армия «отныне находится под покровительством Великого князя Николая Николаевича». В свою очередь, Великий князь согласился именоваться «лидером эмиграции» и вскоре перебрался с мыса Антиб в небольшое поместье Шуаньи в двадцати пяти километрах от Парижа, откуда мог поддерживать контакт с эмигрантскими политиками и военными.

«Николаевцы», среди которых были не только убежденные монархисты (часть монархической эмиграции группировалась вокруг другого претендента на престол — Великого князя Кирилла Владимировича), но и такие известные праволиберальные деятели, как П.Б.Струве, Н.Н.Львов, князь Пав. Д.Долгоруков, В.И.Гурко, развернули активную агитацию в пользу Николая Николаевича. К этому времени относится и основание газеты «Возрождение». Издаваемая на деньги нефтепромышленника А.О.Лукасова и редактируемая П.Б.Струве, она была задумана как противовес популярным леволиберальным «Последним новостям» П.Н.Милюкова и еще более левым эсеровским изданиям во Франции и Германии.

В середине сентября 1923 г. в Париже в среде «николаевцев» сформировалась «Инициативная группа по объединению русских общественных организаций». Ее состав был узок, но весьма представительен: бывшие председатели Совета министров граф В.Н.Кокцов и А.Ф.Трепов; бывшие члены Госсовета В.И.Гурко и А.Н.Крупенский; бывшие министры «белых правительств» А.В.Карташев, Н.В.Савич, М.М.Федоров, С.Н.Третьяков; видные дипломаты князь Г.Н.Трубецкой и Н.Н.Шебеко; главноуполномоченный Врангеля во Франции генерал Е.К.Миллер. Все эти лица, вошедшие в «группу» в личном качестве, одновременно представляли и влиятельные общественные и финансовые круги русской эмиграции. Членов группы объединяло стремление к скорейшему свержению большевистского режима в России при опоре на сохраняющуюся на Балканах русскую армию и ориентация на Великого князя Николая Николаевича в качестве общенационального «Вождя».

В ноябре 1923 г. И.П.Алексинский, приехавший в Париж после турне по русским эмигрантским колониям, был единогласно кооптирован в «инициативную группу» по личной рекомендации Великого князя. Монархисты сразу увидели в харизматичном и волевом Алексинском «нужного человека». Очень скоро именно он становится одним из наиболее деятельных участников группы и главным переговорщиком в треугольнике: «Николай Николаевич — Врангель — парижская группа». Уже на заседании 7 декабря Алексинский решительно высказался за активизацию публичной активности группы и снятия излишней конспиративности: «Для того чтобы вызвать отклик в России к нашему начинанию и чтоб побудить иностранцев выйти из нынешней неопределенной позиции, надо приковать внимание русского народа здесь и там, а также внимание французов к Великому князю и русскому национальному делу. Этого мы можем добиться только путем открытой работы, а следовательно, путем явного существования нашей группы».

На этом же заседании Алексинский впервые открыто предложил перейти от частных совещаний в режим подготовки объединительного съезда, представительного и легитимного для большинства эмигрантских организаций: «Пока что мы представляем собою немногочисленную группу хотя бы и влиятельных в известных кружках лиц, из коих не все имеют определенные полномочия своих организаций. В таком положении мы не представляем силы в глазах французов. Нам нужно выступить открыто, выделить из своего состава группу для подготовки общеэмигрантского съезда, обратиться на места с указанием важности съезда и с предложением приступить к подготовительной работе». Главную задачу Алексинский видел в том, чтобы «будить общественную мысль, привлекать к работе широкие круги общества»: «Крупное общественное дело можно сделать лишь объединенными усилиями широкой общественности, когда вся организованная русская общественность будет с нами и будет нам сочувствовать». Аргументацию Алексинского активно поддержали А.Ф.Трепов, Н.Н.Шебеко, В.И.Гурко — возможно, в частности, и потому, что почувствовали в новом сотруднике прямую креатуру как Великого князя, так и Врангеля и — что не менее важно — знатока и выразителя массовых эмигрантских настроений. Характерно и то, что высказавшие сомнения по поводу программы Алексинского С.Н.Третьяков и М.М.Федоров (а на следующем заседании — и В.Н.Коковцов) в скором времени, под разными предлогами, приостановили свое участие в заседаниях. Позиции Алексинского вскоре усилили и кооптированные в состав группы лидеры «белого казачества» — генералы П.Н.Краснов и М.Н.Граббе.

Переход от клубных совещаний к активной работе, еще до объединительного съезда, Алексинский понимал как создание «прообраза кабинета», где у каждого участника будет четкий круг обязанностей: «Поручения даются Великим князем, исполнители должны работать по его указаниям...». Он приводил аналогию с «Русским Советом» Врангеля, куда входили не только лица «по избранию» от организаций, но и «по назначению» от Врангеля: «Всякий получавший назначение на известную должность входил в состав Русского Совета. Тот же принцип может быть проведен и сейчас...».

1 сентября 1924 г., распоряжением генерала П.Н.Врангеля был создан Русский Общевоинский Союз (РОВС), целью которого было объявлено «сохранение русской армии и ее кадров от распыления, укрепление духовной связи между армейскими кадрами и сохранение их как носителей лучших традиций Российской Императорской армии в условиях перехода к гражданской жизни». В декабре 1924 г. другим приказом Врангеля РОВС был переподчинен Великому князю Николаю Николаевичу. В этих условиях 29 января 1925 г. большая группа общественных деятелей, собравшись на парижской квартире А.Ф.Трепова, провозгласила «необходимость и полную своевременность учреждения при Особе Великого князя совещательного органа из небольшого круга вполне доверенных лиц, который мог бы работать в качестве политического совещания, или, если мысль об учреждении совещания будет отклонена, при Великом князе должен состоять избранный им ответственный исполнитель по общей политической и гражданской части... Через него должны будут вестись все внешние сношения. Он будет в связи с сильным общественным центром, которому должны подчиняться все отдельные общественные организации, когда таковой центр удастся создать...». После обсуждения было принято решение, зафиксированное в специальном «журнале»: «Совещание единогласно постановило поручить И.П.Алексинскому, как наиболее яркому представителю общественности, представить лично на благовоззрение Его Императорского Высочества, Великого князя Николая Николаевича настоящий журнал...».

Во исполнение этого решения 10 февраля 1925 г. И.П.Алексинский получил аудиенцию у Великого князя. Тот подчеркнул, что считает «вполне естественными и вполне логичными те предположения, которые возникли у группы русских патриотов», но посчитал «преждевременным» создание намеченного совещанием органа: «Может возникнуть предположение, что здесь, за рубежом, создается какое-то правительство для России...». Великий князь остался при той точке зрения, что его «должна призвать будущая свободная Россия», а не

позвать только эмиграция — тем более ее часть. Тем не менее на очередном совещании «группы патриотических деятелей» было принято решение регулярно направлять Николаю Николаевичу «журналы» своих заседаний, а информацию о состоявшихся встречах публиковать в прессе. По этому вопросу среди участников возникли расхождения, но победило мнение Алексинского: «Бояться критики нам не должно. Мы должны взять пример с французов, которые даже любят, когда их критикуют. Разумеется, совещанием будет соблюдаться конспирация в тех случаях, когда это окажется необходимым. Печатание же в газетах о наших совещаниях — это самая доступная в настоящих условиях форма оповещения широких русских кругов». (Вместе с тем прокламирование большей решительности и открытости эмигрантского объединения сочеталось у Алексинского с пониманием необходимости конспирации и борьбы с провокацией. Об этом он, в частности, подробно говорил на заседании 26 января 1924 г., где рассказал о выявленных при его участии случаях большевистской пропаганды в Константинополе и Праге, когда советские агенты пытались внести сумятицу в ряды белого офицерства, вбивая клин между Великим князем и якобы «скрытым республиканцем» Врангелем.)

Личные консультации Великого Князя и «представителя ответственности» Алексинского продолжились. Так, на совещании «группы патриотических деятелей» 2 мая 1925 г., где обсуждался важный вопрос о возможности «иностранного вмешательства» в случае активизации белой армии и внутренней оппозиции в России, Алексинский разъяснил коллегам позицию Великого князя: «Его Высочество признает, что такое вмешательство было бы нежелательным, но допускает, что оно может случиться. Формы его могли бы быть различны, и, разумеется, самой печальной формой была бы оккупация». После разъяснений Алексинского совещание пришло к выводу, что «если признать иностранное вмешательство не соответствующим интересам России, то, тем не менее, иностранная поддержка русским начинаниям не только может быть очень ценна, но и совершенно необходима». Такой вывод, по мнению участников, вытекает из того казавшегося им очевидным факта, что «нынешнее политическое положение в Европе выявило для каждого разумного человека общность интересов цивилизованных народов в вопросе о свержении большевиков».

Фактически став одним из лидеров правого крыла русской эмиграции, И.П.Алексинский, тем не менее, неоднократно заявлял, что не считает себя «идейным монархистом». Ключом к пониманию этой неоднозначной, но по-своему последовательной позиции могут стать его выступления на совещаниях «патриотической группы». Так, 2 мая

1924 г. Алексинский заявил, что, «исходя из реальных соображений, признавая современное состояние России, для которой единственно возможным строем является строй монархический, можно даже отстаивать в душе республиканцем, но говорить за монархию». А 8 июля им было заявлено еще более определенно: «Есть единственный путь для воссоздания Российского государства — это путь восстановления России под управлением монарха. Этим путем мы и должны идти. Русский народ до республиканской формы правления не дорос, так как иначе не мог бы продолжаться семь лет большевизм...».

При всей своей политической прямолинейности и даже авторитарности (многие окружающие относили это на счет «привычки к хирургическим методам») Иван Алексинский, похоже, был лишен личного тщеславия, ставя общую пользу много выше собственных амбиций. Так, в ключевые моменты он внешне легко отказывался от первых ролей (при полной возможности их занять) в пользу иных фигур, которые могли бы на данном этапе объединить более широкий спектр политических сил. В мае 1925 г. он, например, первым предложил на пост председателя «Совещания общественных деятелей» экс-премьера А.Ф.Трепова (отметив, что «надо считаться с пользой дела и с возможностью его развития»), ограничившись ролью его заместителя.

И в процессе долгой и тяжелой подготовки объединительного «Зарубежного съезда» Алексинский постоянно имел в виду, что объективный «монархический уклон» главных инициаторов объединения не должен отпугнуть от съезда и более умеренные группы эмиграции, в том числе и потому, что к ним тяготеют влиятельные предпринимательские и финансовые круги. Это, например, ярко проявилось во время консультаций по поводу проведения в Париже 13 сентября 1925 г. предварительного, но крайне важного «Собрания представителей русских общественных организаций во Франции», от которого во многом зависел характер, да и сама возможность будущего Объединительного съезда. На состоявшемся накануне совещании «группы патриотических деятелей» все участники высказались в пользу того, что в качестве председателя Собрания 13 сентября «наиболее желательной представляется кандидатура Алексинского». Между тем в «журнале» далее имеется характерная запись: «Самим же И.П.Алексинским было отмечено, что хотя он не считает возможным отказываться от работы, и притом столь большого общественного значения, но полагает, что если будет выдвинута его кандидатура в председатели, то она вызовет явную оппозицию в кругах Торгово-Промышленного союза и Национального Комитета, ибо они счита-

ли бы, что таким избранием было бы умалено значение Торгово-Промышленного Союза. Поэтому он считает более правильным, чтобы его не выбирали председателем собрания 13 сентября...».

Алексинский прекрасно понимал в тот момент, что его самоотвод открывает прямую дорогу к председательствованию вполне конкретной фигуре — одному из лидеров Торгово-Промышленного союза амбициозному Сергею Николаевичу Третьякову — когда-то крупному текстильному магнату, министру Временного правительства. Между Алексинским и Третьяковым существовала взаимная личная неприязнь, которую ни один из них не мог рационально объяснить, — и, тем не менее, Алексинский хорошо понимал, что без участия финансовых кругов будущий Съезд окажется невозможным ни в политическом, ни в организационном плане. (Впоследствии С.Н.Третьяков, не слишком чистоплотный и в личных делах, будет изобличен как платный агент советских спецслужб. Когда именно началось его сотрудничество с большевиками — в 1929 г., что фиксируют надежные документы, или ранее — сказать затруднительно.)

И.П.Алексинский, безусловно, сыграл одну из ключевых ролей в организации в апреле 1926 г. в Париже «Зарубежного съезда». Более того, памятью о неоднократных поездках Алексинского по русским эмигрантским колониям, многие их представители отправлялись в Париж с твердым наказом пославших их избирателей «во всем поддерживать Ивана Павловича». Значительной была роль Алексинского и в обеспечении финансовой стороны Съезда: помогли не только имена друзей — Врангеля и Великого князя, но и личные, часто неформальные, связи самого Алексинского с состоятельными спонсорами.

При подготовке «Зарубежного съезда», в ходе его проведения и особенно после его окончания левая эмигрантская пресса (эсеровская, меньшевистская, левокадетская) приложила немало стараний, чтобы раздуть разногласия между двумя руководителями съезда — П.Б.Струве и И.П.Алексинским. Такие разногласия, разумеется, были, и они действительно наложили свой отпечаток на работу съезда. Однако их не стоит преувеличивать: Алексинский и Струве вместе работали у Врангеля, оба считали Великого князя Николая Николаевича необходимой консолидирующей фигурой, да и просто находились в хороших личных отношениях. Надо вспомнить и том, что еще в мае 1925 г. именно Алексинский, по прямой просьбе «Совещания патриотических деятелей», наладил личный контакт со Струве с целью привлечь его к организации съезда, а потом и предложить ему стать председателем Оргкомитета.

Следует также подчеркнуть, что на самом съезде Струве и Алексинский не столько соперничали, сколько долгое время объективно сотрудничали, своеобразно дополняя друг друга. Как известно, среди радикальных монархистов имя Петра Струве не пользовалось популярностью: многие вспоминали его былую борьбу с самодержавием, редактирование жестко оппозиционного журнала «Освобождение», связи с социал-демократами Ленина, а потом и кадетами Милоюкова. Многие монархисты, хотя и знали о принципиальной эволюции Струве к «государственничеству», о его заслугах перед белым движением и эмиграцией, все-таки настаивали на том, чтобы именно Иван Алексинский возглавил «Зарубежный съезд». Однако тот, предвидя, в свою очередь, возможный откол «центристов», для которых Струве был все-таки предпочтительнее, фактически отказался «переламывать» съезд в свою пользу, агитировать за свою кандидатуру, хотя и не стал снимать ее с обсуждения, а потом и голосования.

Скорее всего, Струве и Алексинский заранее сговорились о некоем «двоевластии»: в этом «дуумвирате» первый предназначен был председательствовать, символизируя собой объективность, умеренность и центризм; второй — «сидеть рядом», обозначая монархическую составляющую съезда и общий вектор на консолидацию вокруг фигуры Великого князя Николая Николаевича. В пользу такой версии говорят, например, подробные журналистские репортажи из парижского отеля «Мажестик», где проходил съезд, в том числе и из редактируемой самим Струве газеты «Возрождение».

Вот одна из характерных «журналистских зарисовок» о важном моменте начала съезда — предварительном обсуждении делегатами кандидатур на пост Председателя. В этот момент, фиксирует корреспондент «Возрождения», руководитель Оргкомитета Струве передает ведение собрания другому лицу и выходит в кулуары, где общается с... Алексинским. Репортер пишет: «В частном совещании — это ни для кого не секрет — будет обсуждаться вопрос о кандидатурах в Председатели. Принимаются меры, чтобы закрыть доступ в залу неделегатам. ...По кулуарам расхаживают отдельные пары. П.Б.Струве прохаживается по одной из зал вместе с И.П.Алексинским, ведя беседу на... хирургическую тему. Время от времени из зала выходят делегаты, потом снова возвращаются. Из зала доносятся аплодисменты, временами очень шумные: журналисты, заинтригованные, посматривают друг на друга. П.Б.Струве, переговорив с И.П.Алексинским, просит принести ему пальто и шляпу и уезжает... Делегаты высыпают в кулуары... Выясняется, что в результате обсуждения в частном совещании намечены два кандидата в Председатели — И.П.Алексинский и П.Б.Струве».

В результате голосования П.Б.Струве получил 232 голоса и стал Председателем; Алексинский уступил ему, набрав только 193 голоса, но на следующем заседании подавляющим числом голосов был избран «товарищем председателя», а впоследствии возглавил еще и организационную комиссию съезда. «Дуумвират» Струве и Алексинского, таким образом, по факту состоялся, и, несомненно, именно он во многом и позволил провести основную часть съезда без особых конфликтов и потрясений.

Съезд единодушно принял «Обращением к русскому народу», в котором, в частности, говорилось: «Российский Зарубежный Съезд шлет страждущему родному народу русскому от сердца горячий братский привет. ...С вами вместе горим мы жаждою положить все свои силы на ее спасение и возрождение, на действенную и беспощадную борьбу с ее насильниками. Ваше сопротивление и наша посильная работа здесь, общая горячая любовь к Отчизне и вера в милосердие Всевышнего приведут нас к желанной цели. Настанет час, когда мы все под водительством вами и нами признанного Народного Вождя Великого князя Николая Николаевича свергнем соединенными с вами усилиями сатанинскую коммунистическую власть».

Съезд выступил также с «Обращением ко всему миру», в котором объявил глубоко ошибочной тактику некоторых правительств, признавших большевистский режим: «Организация III Интернационала, властвующая над Россией, не только не должна быть отождествляема с Россией и рассматриваема как русское правительство, но она есть, наоборот, злейший враг нашей Родины. Всякие соглашения, а тем более союзы с этой силой есть величайшая ошибка. ...Сколько бы других народов ни признало коммунистическую партию, властвующую над Россией, ее законным правительством, русский народ ее таковым не признает и не прекратит своей борьбы против нее».

И все-таки относительное единение разнородных политических сил на «Зарубежном съезде» не могло в какой-то момент не взорваться. Причиной раскола стали разногласия по поводу статуса и полномочий избираемого съездом «исполнительного органа». Главным докладчиком по этому вопросу выступил И.П.Алексинский. «Вопрос о создании государственно-общественного зарубежного центра России, — начал он, — имеет свою историю. И отдельные группы, и отдельные лица обращали внимание на необходимость в целях сплочения иметь тот зарубежный орган, который спаял бы воедино русских людей, находящихся на чужбине, но сердцем остающихся в России». Раньше, отметил докладчик, эта мысль не получала осуществления, потому что «не было авторитета»: «Но авторитет явился. Около трех

лет тому назад взоры русских людей узрели такой непререкаемый авторитет в лице Великого князя Николая Николаевича. Великий князь сознавал величайшую ответственность и выжидал наступления благоприятных условий для воплощения национального движения... Российский Зарубежный комитет должен быть органом авторитетным. ...Теперь, когда мы знаем, кто наш национальный вождь, когда мы ждем, чтобы он признал возможным возглавить борьбу, мы не можем мыслить орган оторванным от деятельности нашего Национального Вождя (*Крики: "Браво!"*)».

Защищая идею прямого подчинения «Зарубежного комитета» Великому Князю, Алексинский попытался развеять те сомнения, которые, как он знал, существуют у значительной части депутатов: «Говорят, что общественный орган может быть подчинен только Съезду, как его эманация. В нормальных условиях это так. Но разве нормально то, что мы здесь? Разве нормально то, что в России царит власть III Интернационала? Странно говорить сейчас о противоречии нормальному порядку. (*Аплодисменты части собрания*)». Аппелировал Алексинский и к своему знанию массовых эмигрантских настроений, которые, по его мнению, намного решительнее, чем сознание отдельных «парижских интеллектуалов»: «Гг. члены Съезда! Если здесь, в Париже, есть некоторые слишком осторожные люди, то там, на местах, люди не умудрены опытом, но горят настоящим горением...».

Свою речь Алексинский закончил словами: «Наш Съезд есть Российский Земский Собор, имеющий право на учреждение государственно-общественного органа. Задачи Съезда — государственные, боевые. Связь между зарубежным Центральным органом и Великим князем должна быть в порядке определенного подчинения... Час настал, чтобы спаять русских людей воедино и помочь Вождю в тяжком деле освобождения и воссоздания Святой Руси» (*Часть собрания встает и устраивает докладчику овацию*)».

Судя по всему, у И.П.Алексинского, пользовавшегося огромным авторитетом у делегатов «с мест», лично уполномоченного теперь уже общепризнанным Вождем — Великим князем (накануне, узнав о намечающихся разногласиях Алексинского со Струве, Николай Николаевич демонстративно уклонился от встречи с Председателем), были хорошие шансы выиграть и последний раунд съезда. Дело испортили поверившие в легкую победу и «закусившие удила» ультрамонархисты. Сначала Н.Е.Марков (Марков 2-й) угрожающим тоном напомнил собранию, что «Россия страждет и Россия ждет»: «Комитет необходим. Тем, кто захочет стать между Вождем и русским народом, придется... (*Оратор делает угрожающий жест. Шум. Аплодисменты.*)... Но

помните: русский народ чуток. Воля русского народа ясна — идти на освобождение России под водительством Верховного Вождя. Мы здесь разговариваем спокойно, а там, в России, рассуждают проще: теперь ставят к левой стенке, а потом будут ставить к правой стенке (*Шум и аплодисменты*)».

Свою лепту в нагнетание напряженности внес и известный философ И.А.Ильин, который выступил с пространной лекцией-проповедью. Содержащаяся в ней апология сакрального значения монархии не могла не покоробить значительную часть делегатов. «Излечились ли мы от духа революционного и республиканства? — вопрошал Ильин. — Ибо и в будущем цвести нашей Родине только под Царем и мучиться и чахнуть ей в интригах республиканской партийности. ...Научились ли мы “дело царевое нести честно и грозно”, раскрылись ли для этого наши души? ...Да, надо уметь иметь Царя. Мы потеряли Россию, потому что разучились иметь его, и не будет его у нас, пока мы этому не научимся...» и т.д.

Если политик Алексинский, приглашая выступить философа Ильина, думал тем самым окончательно склонить чашу весов в свою пользу, то он явно ошибся — значительная часть «умеренных», напротив, отшатнулась от столь прямолинейно высказанной идеи монархической реставрации, причем в ее самом ортодоксальном — самодержавном — варианте. Правда, когда очередь дошла до голосования, на съезде поначалу сложилось большинство, поддержавшее идею прямого подчинения «исполнительного комитета» Великому князю. Но уже при обсуждении следующего вопроса — о полномочиях комитета — противники проекта Алексинского (которых, очевидно, умело координировал Струве), объединившись, взяли реванш. Они выдвинули ряд ярких ораторов, горячо доказывавших, что создание органа в том виде, как он предлагается, будет вредно для дела Великого князя, что это решение неприемлемо для значительной части собрания и может привести к расколу до сих пор единодушного съезда. Не поддержали Алексинского даже его бывшие соратники — Н.Н.Львов, В.И.Гурко, Н.Н.Шебеко, А.М.Масленников. Последний высказал мысль, которую разделяли многие: «Комитет нам нужен, но как его выбирать при таком настроении, когда «патриоты» вчера несли знамена с таким барабанным боем, что до сих пор еще в ушах звенит» (*Голоса: «Правильно!»*)».

Скандал при самом окончании съезда никак не входил в планы Великого князя Николая Николаевича, который известил делегатов о своей позиции через посредничество генерала А.С.Лукомского. Правое крыло съезда резко сменило тактику, и А.Ф.Трепов заявил,

что «во имя умиротворения страстей и сохранения единства», он полагает целесообразным избрание съездом не «комитета», а «исполнительно-финансовой комиссии для выполнения решений Съезда». Вслед за Треповым вынужден был выступить и Н.Е.Марков: «Печально признаться здесь..., что мы бессильны перед страдающей Россией. Но нам не нужен “маргариновый комитет”, и пусть ликвидационная комиссия съезда начнет работать, а мы исполним свой долг до конца. Но помните, левая треть Съезда, что мы простирали к вам руки и руки наши не встретились...». Корреспондент газеты «Русское время» на следующее утро так описал этот момент: «Закончив “надгробное” слово, Марков еще долго стоит на эстраде в позе короля Лира...».

Как бы там ни было, в протоколах съезда зафиксирована следующая запись: *«По предложению Председателя Съезд одобряет основную мысль, высказанную А.Ф.Треповым, большинством всех голосов против семи»*. Состав «Исполнительно-финансовой комиссии для ликвидации дел Съезда» был избран открытым голосованием — ее председателем был единодушно избран И.П.Алексинский.

Правая часть «Зарубежного съезда», однако, не смирилась с неудачей и через несколько дней после окончания съезда создала отдельную политическую организацию — «Русское Зарубежное Патриотическое Объединение» во главе с И.П.Алексинским. 22 апреля 1926 г. лидер новой организации получил от Великого князя Николая Николаевича письмо, в котором тот горячо поблагодарил всех тех, кто образовал «Патриотическое объединение», за «верность и патриотизм».

Судя по всему, после «Зарубежного съезда» политическое влияние Алексинского в эмиграции пошло на убыль. Он и сам понимал это и все больше отходил от политики в сторону профессиональной медицинской деятельности. Долгое время Алексинский возглавлял парижское «Общество русских врачей им. Мечникова», являлся вице-председателем Совета Русско-французского госпиталя. В Париже хирург Алексинский имел большую практику, но никогда не отказывал и в безвозмездной помощи неимущим эмигрантам. В 1925 г. он оперировал в Нише епископа Владимира (Тихоницкого), но наиболее известными его пациентами стали два выдающихся белых генерала, личные друзья Алексинского — барон Петр Николаевич Врангель и Александр Павлович Кутепов.

24 марта 1928 г. 49-летний генерал-лейтенант П.Н.Врангель неожиданно тяжело заболел в своем доме в Брюсселе. Близкие считали, что высокая температура и признаки нервного расстройства — последствия недавно перенесенного гриппа. Больного консультировали сразу несколько русских и бельгийских врачей. 30 марта из Парижа был

вызван близкий друг и соратник по белому движению Иван Алексинский, который в тот раз не посчитал положение опасным. 11 апреля, приехав во второй раз, Алексинский зафиксировал туберкулезное поражение легких: «Была какая-то скрытая инфекция (грипп?), пробуdivшая скрытый туберкулез в верхушке левого легкого...». 15 апреля, в первый день Святой Пасхи в состоянии барона произошло резкое ухудшение. 19 апреля Алексинский приехал в третий раз и узнал от близких Врангеля, что с ним произошел сильнейший нервный припадок: «От какого-то страшного внутреннего возбуждения он минут сорок кричал..., никакие усилия окружающих не могли его успокоить...».

В своих мемуарах, опубликованных через некоторое время в эмигрантской «Иллюстрированной России», Алексинский вспоминал, что в те дни П.Н.Врангель жаловался на сильное нервное возбуждение, которое его страшно мучило: «Меня пугает мой мозг... Я не могу отдохнуть от навязчивых ярких мыслей... Мозг против желания моего лихорадочно работает, голова все время занята расчетами, вычислениями, составлением диспозиций... Картины войны все время передо мною, и я пишу все время приказы, приказы, приказы...».

25 апреля 1928 г. генерал-лейтенант барон П.Н.Врангель скончался. 28 апреля состоялись грандиозные похороны на брюссельском кладбище Ixheles. В отпевании и похоронах участвовали многие выдающиеся дореволюционные парламентарии России — М.В.Родзянко, Н.Н.Львов и др. Среди сотен венков был и такой: «*Вождю и другу П.Н.Врангелю. И.Алексинский*» с лентой цветов русского национального флага... Через три месяца прах барона перенесли в постоянный склеп на кладбище Saint-Gilles, а еще через год переправили «восточным экспрессом» в Белград, где он был захоронен в храме Св. Троицы.

В 1930 г. И.П.Алексинскому пришлось стать невольным участником еще одной драмы, связанной с русской белой эмиграцией. 26 января 1930 г. лидер «Русского общевоинского союза» (РОВС) генерал А.П.Кутепов вышел из своей квартиры на улице Руссе и направился пешком в воинскую церковь русского «Союза галлиполийцев», где он так и не появился. Тщательное расследование показало: примерно на полдороге к генералу подъехали два автомобиля и выбежавшие люди затолкали его в машину. Через несколько часов похожие автомобили видели на одном из пляжей между Кобургом и Тревиллем. Некий продолговатый предмет был погружен на моторную лодку и отправлен на стоявший неподалеку советский пароход «Спартак», неожиданно ушедший из порта Гавра днем раньше... Версия о похищении лидера РОВСа агентами советских спецслужб стала тогда преобладающей. В комментариях не было недостатка; в числе про-

чих обратились и к И.П.Алексинскому, хорошо знавшему и неоднократно лечившему генерала. Оценка выдающегося врача была более чем пессимистична: по его мнению, Кутепова, скорее всего, уже нет в живых, ибо из-за тяжелого фронтowego ранения в грудь организм генерала не мог вынести анестезии, а поэтому применение похитителями эфира или хлороформа могло оказаться для него смертельным...

Драматическое похищение генерала Кутепова (в 1937 г. большевистскими агентами будет похищен новый руководитель РОВС, генерал Е.К.Миллер) заставило многих снова вспомнить необычные обстоятельства смерти барона Врангеля. Вспомнили, что незадолго до странной болезни в доме Врангеля появился якобы «брат» вестового барона, Якова Юдихина, о котором тот ранее никогда не вспоминал. «Брат» служил фельдшером на советском судне, стоявшем в порту Антверпена, и прожил в доме Врангеля всего одни сутки, после чего исчез. На следующий день Врангель заболел...

В своих мемуарах, надиктованных уже после второй мировой войны, В.В.Шульгин добавил важную информацию о подлинной позиции И.П.Алексинского по поводу «странной болезни» Врангеля. Шульгин вспомнил: «Алексинский допускал, что Врангелю дали отравленный черный кофе. Отравленный особым ядом: теми же бактериями, которыми он болел...». Если это так, то позиция Алексинского в период болезни Врангеля и сразу после его смерти становится более понятной: опытейший врач прекрасно понимал «ненормальность» болезни, но не посчитал возможным говорить об этом ни умирающему другу, ни его близким, ни — тем более — поддерживать в средствах информации деморализующую эмиграцию версию о «происках вездесущих большевиков».

Можно только догадываться, что испытывал И.П.Алексинский, видя, как один за другим уходят в могилу или бесследно исчезают близкие люди, с которыми он связывал перспективы борьбы за возрождение России. Вслед за Врангелем в 1929 г. на своей вилле под Ниццей скончался Великий князь Николай Николаевич; в 1930 г. — князь Григорий Николаевич Трубецкой, мыслитель и дипломат, человек, очень близкий к Великому князю и самому Алексинскому...

Однако самая большая трагедия произошла в конце 1929 г. 27 ноября скончалась от быстротечной чахотки любимая дочь и ближайшая соратница Ивана Павловича — Надежда Ивановна Алексинская. Во время мировой войны она, еще студенткой, работала «сестрой милосердия» рядом с отцом; диплом врача получила в 1917 г., снова работала во фронтowych госпиталях «по распределению». Зимой 1920 г. перешла границу, стремясь на Балканы, опять поближе к отцу, четы-

ре года проработала врачом в русском госпитале в Панчеве (Сербия). Потом перебралась в Париж, где работала вместе с отцом в франко-русском госпитале в Вилльжюиф и в их семейной клинике в Нейи. Профессор клиники С.С.Абрамов, уже после ее кончины, вспомнил, как однажды Надежда Алексинская принесла ему для консультации образцы мокроты якобы одного из пациентов (а на самом деле — свои собственные), спокойно выслушала приговор. Через четыре месяца ее не стало...

Отпевание прошло в парижском православном соборе св. Александра Невского на улице Дарю; похоронили Надежду Алексинскую на кладбище в Нейи. Видный деятель эмиграции, бывший депутат трех дореволюционных Дум Н.Н.Львов был поражен тем, сколько разных людей, ранее никогда в жизни не общавшихся, пришло на похороны: «Храм на рю Дарю был переполнен молящимися. И старые, и молодые, и жены, и дети — все растроганные, все в слезах. Хоронили не крупного общественного деятеля, не заслуженного государственного человека, не знаменитого писателя и художника. Хоронили молодую русскую женщину...».

В 1930-е гг. Иван Петрович Алексинский постепенно сворачивает медицинскую практику, перестает участвовать в светской и политической жизни эмиграции. Последний раз его видели на публике 16 августа 1936 г. — в этот день в Париже проходила панихида по скончавшемуся в Сербии митрополиту Антонию (Храповицкому). В конце 1936 г. он, неожиданно для всех, переезжает в Касабланку (Марокко), где становится председателем церковной общины при церкви Успения Божьей Матери.

Первые группы русских приехали на территорию Марокканского султаната, находившегося под протекторатом Франции, в 1922—1923 гг. из тунисского порта Бизерта, где нашли пристанище моряки эвакуированного из Крыма врангелевского флота. К началу 30-х гг. в Касабланку приехали еще несколько сот русских, которые, не найдя хорошей работы во Франции, поддались рекламе об «обетованной земле» в Северной Африке. На деле жизнь большинства русских в Марокко была не из легких. Митрополит Евлогий (Георгиевский), бывший там проездом, написал о тех временах в своих мемуарах: «Русские здесь служат преимущественно землемерами на отвоеванных у арабов участках. Условия работы трудные. Живут в палатках под угрозой налетов арабских племен, под страхом быть растерзанными шакалами или погигнуть от укуса змей, скорпионов...». В 1927 г. русской православной церковью в Марокко был прислан священник Варсонофий (Толстухин), который обосновался в Рабате. К 1935 г. и

в Касабланке среди членов русского кружка возникла идея создания своей церкви. Первоначально оборудовали часовню в обычном барачном помещении, а после приобретения участка земли началось строительство храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Именно в это время и появился в Касабланке Иван Павлович Алексинский, который откликнулся на призыв проживавших в Марокко хорошо ему известных княгини В.В.Урусовой (так же, как и он, работавшей в первую мировую войну начальницей санитарного отряда Красного Креста) и адмирала русского флота А.И.Русина, кавалера французского ордена Почетного легиона. В Касабланке Алексинский жил очень скромно, занимался в основном делами церковной общины, оказывал медицинскую помощь, часто безвозмездную, русским эмигрантам, иногда оперировал... Он тихо скончался 26 августа 1945 г. и был похоронен на местном европейском кладбище.

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ФЕДОТОВ:
**«Духовное спасение России заключается в возрождении
потребности в свободе»**

До революции

Георгий Петрович Федотов родился в Саратове 1(13) октября 1886 г. в семье «правителя дел» губернаторской канцелярии. Саратов и волжские берега навсегда останутся любимой малой родиной Федотова, куда он будет возвращаться в трудные моменты жизни и о которой будет мечтать в годы вынужденной эмиграции.

Окончив первым учеником Николаевскую гимназию в Воронеже, он вскоре поступил в Санкт-Петербургский Технологический институт. Однако революционные события 1905 г. захватывают Федотова, примкнувшего поначалу к радикальным социалистам. Арест и высылка за границу способствуют продолжению образования — Федотов изучает историю в Берлинском и Йенском университетах. Тогда же, в Германии, он оказывается под влиянием христианской гуманистической философии и постепенно отходит от марксистского материализма.

Осенью 1908 г. Федотов возвращается в Россию и поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета, где попадает в круг выдающегося педагога-просветителя, убежденного европеиста Ивана Михайловича Гревса, вырастившего целую плеяду крупных историков и культурологов, среди которых такие корифеи русской мысли, как Лев Карсавин и Владимир Вейдле. Увлечшись, благодаря Гревсу, проблемами европейского средневековья, Федотов окончательно отходит от политики. Тем не менее он продолжает оставаться под надзором полиции и, подвергшись несколько раз обыскам и опасаясь ареста, уезжает по подложному паспорту в Италию, где работает в библиотеках Рима и Флоренции, зарабатывая на жизнь частными уроками в семьях богатых русских. Впоследст-

вии, в работе «Лицо России» (1918), Федотов писал о той огромной роли, которую сыграла Италия в его становлении как историка русской культуры: «Именно более глубокое погружение в источники западной культуры открыло великолепную красоту русской культуры. Возвращаясь из Рима, мы впервые с дрожью восторга всматривались в колонны Казанского собора; средневековая Италия делала понятной Москву».

Вернувшись в Россию, Федотов был приговорен к годичной ссылке и выбрал Ригу, где занялся подготовкой диссертации. После возвращения в Петербург он успешно сдал магистерские экзамены и был оставлен при университете, где вскоре получил приват-доцентуру по кафедре средних веков, работая одновременно хранителем отдела искусств Публичной библиотеки.

После революции

Первую мировую войну Федотов воспринял как совместную борьбу россиян за свободу в союзе с западными демократиями. Февральская революция 1917 г. была встречена им без восторга: он понимал, что русская демократия слишком хрупка и бессильна перед натиском разрушительных антикультурных сил. После Октября он остается на службе в Публичной библиотеке, продолжает заниматься наукой, посещает религиозно-философские кружки, участники которых надеялись на мирную эволюцию большевизма.

После тяжелого заболевания сыпным тифом Федотов берет отпуск и уезжает в родной Саратов, где становится профессором кафедры средневековой истории. Вскоре, однако, он вынужден был покинуть университет из-за своего демонстративного отказа соблюдать советскую обрядность — посещение собраний, хождение на демонстрации и т.п. Убежденный христианин, Федотов решает вскоре вообще уволиться с госслужбы и зарабатывать переводами в частных издательствах, расплодившихся в годы нэпа: это обеспечивало приличный заработок, хотя и лишало госпайка, а также существенно повышало плату за квартиру и обучение дочери.

В 1925 г. Федотов получает французскую визу и выезжает сначала в Берлин, а затем в Париж; через некоторое время к нему переезжает из России и семья. Работать и публиковаться во Франции по узкой специальности — медиевистике — оказалось невозможным (хороших специалистов было в избытке), и Федотов в поисках заработка начинает писать историко-публицистические

статьи для эмигрантских журналов. Конкуренция и здесь была велика, но уже первые статьи-эссе Федотова, «Три столицы» и «Трагедия интеллигенции», опубликованные в 1926 г. в парижском журнале «Версты», получили широкую известность в литературно-политических кругах русской эмиграции. На молодого автора обратила внимание редакция крупнейшего эмигрантского журнала «Современные записки», в котором Федотов затем многократно печатался, снискав себе славу «*первого публициста эмиграции*», «*Герцена нового времени*».

В Париже произошло знакомство Федотова с другим русским эмигрантом — крупнейшим философом Федором Степуном, дружба и сотрудничество с которым продлилась долгие годы. Степун позднее вспоминал о первой встрече с Федотовым: «Впечатление было несколько неожиданное... Очень сдержанная речь с паузами и умолчаниями, тихий, но богатый интонациями голос; во внешнем облике, несмотря на заношенный пиджачок, нечто очень изящное, хрупкое и даже декадентское, что не встречалось у писателей-бытовиков и партийцев-общественников. Во всем образе нечто аристократически-отъединенное...».

В 1920–1930-х гг. Федотов издал во Франции серию монографий по истории русской православной церкви, принесших ему европейскую известность. Одновременно он был активным участником экуменического движения, ратуя, в частности, за сближение православной и англиканской епископальной церкви. С 1926 по 1940 г. Федотов преподавал историю Западной церкви и латинский язык в парижском Богословском институте. После оккупации Парижа немцами он уезжает на юг Франции, где арестовывается за нелегальный переход демаркационной линии. При содействии друзей-американцев он получает визу в США, но путь туда оказался долгим и трудным. Сначала французский пароход, следующий в Штаты кружным путем через Бразилию, был блокирован англичанами в порту Дакара (Сенегал), где простоял четыре месяца — все это время Федотов работал в Дакарском музее, а также учил португальский и древнееврейский языки. Затем корабль был отправлен в Касабланку (Марокко), где пассажиры некоторое время жили в палаточном лагере в пустыне, за колючей проволокой. Добыв билеты на испанский пароход, Федотов — через Алжир, Испанию, Кубу и Бермуды — прибыл, наконец, в сентябре 1941 г. в Нью-Йорк.

Некоторое время он работал как «visiting fellow» в колледже при Йельском университете в Нью-Хэйвене, пользуясь стипендией Бахметьевского фонда; затем стал профессором православной Богослов-

ской академии Св.Владимира в Нью-Йорке. В конце 40-х годов он издал в США на английском языке два своих последних крупных труда — «The Russian Religious Mind» и «The Treasury of Russian Spirituality».

Между тем болезнь сердца, преследовавшая Федотова на протяжении всей жизни, усиливалась. Крупный поэт и публицист русской эмиграции Юрий Иваск вспоминал о последних месяцах жизни Федотова: «Он становился все хрупче, легче. Как-то необыкновенно бережно, прощаясь, касался вещей. Все меньше говорил. Все больше молчал. Был — тихий, светлый и вместе с тем, до самого конца — такой живой...». 1 сентября 1951 г. Георгий Петрович Федотов скончался в госпитале города Бэкон, штат Нью-Джерси.

Оправдание культуры

Несмотря на то, что политико-культурологические взгляды и оценки Г.П.Федотова рассредоточены по многочисленным публикациям, его политическое наследие достаточно цельно. Хорошо знавший его Ю.Иваск писал, что делом всей жизни Федотова было утверждение мысли о том, что человеческая свобода может стать результатом не политического переворота, а культурного творчества. «Его дело, — писал Иваск о Федотове, — *оправдание культуры*, которая так страстно и на все лады отрицалась у нас — со времени Белинского и до “Русской идеи” Бердяева. И он боролся с этим отрицанием, которое довело Россию до нового советского варварства и обогатило торжество зла большевизма, способного погубить все человечество». Иваск видел в Федотове синтетическую фигуру, сумевшую примирить крайности русской мысли: «Он — Герцен, ставший христианином; он — Хомяков, опять вернувшийся на Запад...».

Согласно общей философско-исторической концепции Федотова развитие России происходило в условиях острого соперничества по меньшей мере трех тенденций: самодержавно-деспотической, антигосударственно-нигилистической и творческо-европеистской. Только победа этой третьей, европейской, тенденции открывала перед Россией перспективу свободного и полного развития. «Судьба, увы, сулила иное», — констатировал Федотов. Изучению причин крушения российского европеизма, анализу истоков большевистского варварства и поиску путей освобождения России и посвящена политическая публицистика Г.П.Федотова.

Профессионально изучая историю России, Федотов считал, что уже в допетровской Руси был заложен немалый потенциал европеизма. Его особенно увлекала самобытно русская, и в то же время безус-

ловно европейская культура русского Севера, более, чем Московия, свободного от деспотическо-азиатских элементов. Федотову были близки многообразие, сложность и межкультурный синтез псковско-новгородской земли, которая чудесным образом совмещала «с буйным вечем молитвенный подвиг, с русской иконой ганзейский торг». Уже в своей ранней работе «Трагедия интеллигенции» (1926) Федотов писал, что в самобытно-европейской истории России «главное творческое дело было совершено Новгородом»: «Здесь, на севере, Русь перестает быть робкой ученицей Византии и, не прерывая религиозно-культурной связи с ней, творит свое — уже не греческое, а славянское или, вернее, именно русское — дело. Только здесь Русь откликнулась христианству своим особым голосом». И поэтому прав был Ф. Степун, когда писал о том, что в конкуренции моделей русского развития «живая любовь великоросса Федотова» принадлежит не Москве и не Петербургу, а именно Новгороду.

Петровские реформы, по мысли Федотова, дали новый импульс российскому европеизму. Творческий потенциал этого реформаторства мог двинуть Россию не по пути банального подражательства Европе, а в направлении творческого развития самой «культурной идеи Европы». «Петровская реформа, — писал Федотов в «Письмах о русской культуре» (1938), — действительно вывела Россию на мировые просторы, поставив ее на перекрестке всех великих культур Запада, и создала породу русских европейцев». Федотов считал, что эта новая порода русских людей могла не только сродниться с Европой, но и стать воплощениями «высшей Европы», до чего редко дорастает даже большинство самих западных европейцев: «Их <русских европейцев> отличает прежде всего свобода и широта духа — отличает не только от москвичей, но и от настоящих западных европейцев. В течение долгого времени Европа, как целое, жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москва-реки, чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее».

Тип русского европейца, по мысли Федотова, — вовсе не отрицание «старой русскости», а творческое ее преодоление и развитие. В противоположность вульгарным «западникам» (это понятие, в отличие от «европеистов», носит у Федотова негативный оттенок) — скептиков, циников и порой откровенных русофобов, в которых петровское «открытие Европы» лишь закрепило неверие в собственную страну, — русские европейцы, напротив, не утратили ни связи с отечеством, ни силы национального характера. «В каждом городе, в каждом уезде остались следы этих культурных подвижников. Где школа или научное общество, где культурное хозяйство или просто память о

бескорыстном враче, о гуманном судье, о благородном человеке. Это они не давали России застыть и замерзнуть, когда сверху старались превратить ее в холодильник, а снизу в костер. Если москвич держал на своем хребте Россию, то русский европеец ее строил». И пусть в жизни и политике русским европейцам часто приходилось бороться с «косностью и ленью москвичей», и у тех, и у других был общий нравственный идеал, общая любовь к родной стране. Именно эта плодотворная связка «старых» и «новых» русских, патриотов-москвичей и патриотов-европеистов, могла сформировать тип творческой русской элиты, способной, по мысли Федотова, обеспечить для России рыбок в экономике, политике, культуре.

К несчастью для страны, человеческий тип «русского европейца» не успел достаточно развиться и не получил надежного политического представительства, а потому проиграл двум другим национальным типам, принципиально антикультурным и в сущности антинациональным — реакционеру-охранителю и разрушителю-нигилисту.

Общей причиной победы большевизма в России Г.П. Федотов считал потерю страной культурного иммунитета перед варварством, что, в свою очередь, явилось следствием отхода России от высокой гуманистической традиции Европы: «Не хотели читать по-гречески — выучились по-немецки, вместо Платона и Эсхила набросились на Каутских и Леппертов. Лишив себя плодов гуманизма, питаемся теперь его “вершками”, засыхающей ботвой». Этой «ботвой», «сухими вершками европейской культуры» считал Федотов и вульгаризированный марксизм, под обаянием простоты которого он сам находился в юности.

«Кто виноват?»

Основная вина за большевистскую революцию, согласно Г.П. Федотову, лежит на парализовавшем творческий потенциал общества российском самодержавии. «Разве наше поколение не расплачивается сейчас за грехи древней Москвы? — спрашивал он в статье «Правда побежденных» (1933). — Разве деспотизм преемников Калиты, уничтоживший и самоуправление уделов, и вольных городов, подавивший независимость боярства и Церкви, — не привел к склерозу социального тела Империи, к бессилию средних классов и к чернотенному стилю народной большевистской революции?».

Но, тяготеющий в зрелые годы к христианскому либерализму, Г.П. Федотов возлагал вину за русский большевизм не только на косную деградировавшую власть, на каждом шагу подменявшей куль-

турный консерватизм откровенной реакционностью, но и на российских либералов, не сумевших воспрепятствовать (а иногда и прямо потакавших) варваризации общества. В работе «Революция идет» (1929) он написал беспощадные слова о недугах отечественного либерализма, увлекшегося безоглядной критикой старых порядков, но оказавшегося неспособными к позитивному строительству. Эту «немоту либерализма» Федотов объяснял тем, что тот был склонен развиваться по пути наименьшего сопротивления — не в направлении творческого европеизма (т.е. развития европейского потенциала, заложенного в русской традиции), а по пути поверхностного западного подражательства: «Русский либерализм долго питался не столько силами русской жизни, сколько впечатлениями заграничных поездок, поверхностным восторгом перед чудесами европейской цивилизации, при полном неумении связать свой просветительский идеал с движущими силами русской жизни...».

Нежелание и неспособность развивать русскую европейскую традицию не позволило отечественным западникам укорениться в собственной истории. «Своим» для них становился далекий и по существу так и не понятый Запад, в то время как собственно русская история, тоже непознанная и непонятая, отрицалась и отбрасывалась: «Западническое содержание идеалов, при хронической борьбе с государственной властью, приводило к болезни антинационализма. Все, что было связано с государственной мощью России, с ее героическим преданием, с ее мировыми или имперскими задачами, было взято под подозрение, разлагалось ядом скептицизма. За правительством и монархией объектом ненависти становилась уже сама Россия: русское государство, русская нация».

Этот порок русского диссидентства — слабость национального чувства, вытекавшая, с одной стороны, из западнического презрения к собственной стране и, с другой — из непонимания смысла государственности как таковой, — привел к тому, что, по выражению Федотова, «за английским фасадом русского либерализма скрывалось подчас чисто русское толстовство, то есть дворянское неприятие государственного дела».

В периоды стабильного развития глубинные пороки русской элиты — как консервативной (явно вырождающейся в тупую реакцию), так и либеральной (тяготеющей к антигосударственному нигилизму), еще не были фатально губительны для страны. Но в начале XX в., в период обострения внешних и внутренних вызовов и угроз, общая порочность национальной элиты оказалась роковой. И отечественные либералы оказались здесь не на высоте положения. Они подда-

лись общему гипнозу кажущейся мощи русской державности и, будучи непримиримы к «старому режиму», оказались беспощадны и к России: «Такую махину — можно ли сдвинуть? Легкая встряска, удар по шее только на пользу сонному великану. За Севастополь — освобождение крестьян, за Порт-Артур — конституция. Баланс казался недурен. Мы не хотели видеть, что сонный великан дряхл и что огромная лавина, подточенная подземными водами, готова рухнуть, похоронив под обломками не только самодержавие, но и Россию».

Еще одной причиной поражения русского европеизма, отмеченной Федотовым в принципиальной статье «Революция идет», было стойкое пренебрежение по отношению к «хозяйству» со стороны дворянско-интеллигентской элиты: «Дворянство видело в своих вотчинах чистую обузу; из разорительных опытов рационального хозяйства выносило лишь отвращение к этому грязному делу... Промышленность, торговля были уделом черной кости. В торговле дворянство всегда чужало нечто низкое». И это «аристократическое презрение рантье к купцу» разоряющееся русское дворянство передало по наследству порожденному им культурному классу. Новая интеллигенция была в своем большинстве стихийно «антибуржуазна» по своему мировосприятию: «Против социалистической критики в русском сознании не нашлось ни одной нравственной или бытовой реакции в защиту свободного хозяйства...». Это непонимание российской интеллигенцией культурного смысла «хозяйства» в итоге срезонировало и с «классовой ненавистью» пролетариата, и с анархическими устремлениями безземельных крестьянских низов.

Впрочем, повод для общественного отчуждения давала и сама новая русская буржуазия, ибо становление молодого класса протекало «в критических болезнях двойного имморализма: первоначально накопления и скороспелого декаданса». Русская буржуазия не успела еще стать на ноги, а уже начала подгнивать, так и не успев организовать народной жизни и заслужить общественного уважения: «Дед еще был начетчиком, держал дом по Домострою, лишь изредка напяливая на свои могучие плечи европейский сюртук. Сын — просвещенный либерал, учился в Англии, ведет рациональное производство. Внук проживает жизнь по кабакам, среди мертвых эстетов, и умирает от тоски и пустоты жизни...».

О европеизме истинном и мнимом

Итак, драма исторической России, согласно Федотову, — это все расширяющийся «ров между людьми службы и людьми идеи». Послепетровская монархия, бюрократизируясь и затвердевая, но фор-

мально оставаясь «западнической», изменяет своему просветительскому призванию. Интересно, что момент этой «измены» Федотов хронологически относит к «александровской эпохе»: «С Александра I монархия находится в состоянии хронического испуга. Французская революция и развитие Европы держат ее в тревоге, не обособленной в событиях русской жизни. Обскурантизм власти — это ее форма западничества, — тень Меттерниха, которая, упав на Россию, превращала ее в славянскую Австрию...». «Николаевская Россия» мало что вносит здесь принципиально нового.

Шанс на то, что власть и интеллигенция вновь объединят свои силы в деле европеизации России, давали реформы Александра II. «Свежий ветер, подувший по петербургским канцеляриям в пятидесятые годы, был так крепок, что обещал было опять, к великому счастью России, закопать ров между людьми службы и людьми идеи. Милютины, Зарудные и Кони тому свидетели...». Но «свежий ветер», отмечает Федотов, упал достаточно быстро. К сожалению, ореол реформатора, окружавший Александра II, не позволил даже самым чутким русским наблюдателям вовремя распознать этот переход от творческого европеизма к его имитации, ибо, как и при Александре I, контрреформация началась формально в «западнической» оболочке без пока еще кардинальной смены и правящего класса, и идеологии. «Молодым либералам на службе приходилось в спешном порядке консервироваться. Модная англомания позволяла изящно и нечувствительно совершать превращение из вигов в тори. Но эта быстрая смена течений, с повторными перебоями и реакциями, оказала самое губительное моральное действие...».

Итак, в отличие от очень многих либеральных авторов, в целом высоко ценящих царствования «двух Александров», дяди и племянника, Федотов наиболее критичен по отношению именно к ним. И он не скрывает причину этой предвзятости: имитация европеизма, «псевдоевропеизм» для Федотова опаснее «антизападничества» откровенного и торжествующего, ибо транжирит впустую творческий потенциал России, парализует становление человеческого типа «строителя-творца», заменяя его на тип «циника-имитатора». «Царствование Александра II, — писал Федотов, — создало бессовестный тип карьериста, европейски лощеного, ни во что не верующего, ловящего веяние сфер...». После таких, «имитационных», периодов истории России открытая контрреформация (при Николае I или Александре III) уже не видится Федотову резкой и произвольной сменой курса, а выглядит вполне естественной...

Продолжением этой логики разделения Федотовым творческого «европеизма» и банального «западнического» подражания, является принципиальное противопоставление им двух явлений: «демократии убеждений» и «демократии быта». Проблема России состояла в том, что бытовая «демократизация» здесь значительно обгоняла мировоззренческую реформу. Выражаясь более современными терминами, становление элементов «массового общества» опередило формирование общества гражданского.

В начале XX в. в России, полагает Федотов, бурно идет спонтанная «демократизация быта», быстро меняется сам характер «улицы». Федотов делает очень точную социологическую зарисовку: «Чиновничье-учащаяся Россия начинает давать место иной, плохо одетой, дурно воспитанной толпе. На городских бульварах по вечерам гуляют толпы молодежи в косоворотках и пиджаках с барышнями, одетыми по-модному, но явно не бывавшими в гимназиях. Лушат семечки, обмениваются любезностями. Стараются соблюдать тон и ужасно фальшивят. Приглядимся к ... кавалерам. Иногда это чеховский телеграфист или писарь, иногда парикмахер, приказчик, реже рабочий или студент, спускающийся в народ». Именно эти «новые русские» и стали, по мнению Федотова, главной питательной средой, а потом и «движущей силой» большевизации России: «Банщик, портной, цирковой артист, парикмахер сыграли большую роль в коммунистической революции, чем фабричный рабочий. Разумеется, с этим разночинством сливается и выделяемый пролетариатом верхний слой, отрывающийся от станка, но не переходящий в ряды интеллигенции. Сюда шлет уже и деревня свою честолюбивую молодежь. Могуч этот напор, идущий с самого дна...». Этот слой «новых разночинцев, продуктами бытовой «демократизации» России, но не прошедший европейской школы гражданского воспитания, и составил потом костяк новой большевистской «элиты»: «Массе новых разночинцев пришлось дожидаться октября 1917 года, чтобы схватить столь долгожданную власть. Это они — люди Октября, строители нового быта, идеологи пролеткультуры».

Большевизм и русская интеллигенция

Г.П. Федотов отказывался видеть в большевиках «прямых и достойных завершителей дела русской интеллигенции». Они, по его мнению, были продолжателями той линии русского революционаризма, которая еще в 1860-х гг. принципиально разошлась с гуманис-

тической традицией, идущей от Радищева и Герцена. Большевизм был скорее продолжением «нечаевской» линии русского нигилизма, презиравшего традиционную интеллигенцию: «Нечаев был отвергнут поколением 70-х годов. Ленин был одинок в породившей его социал-демократической среде. Он ненавидел интеллигенцию более страстной ненавистью, чем капитализм или самодержавие. Он должен был искать себе поддержки в людях полукультурных, даже полуграмотных: в Зиновьевых и Сталиных».

«В Ленине нет ни скрупула русского интеллигента, — отмечал Федотов в «Размышлениях о русской революции (1932). — Все его огромное влияние на подпольную Россию объясняется именно этой его непохожестью, исключительностью в революционной среде... Русские марксисты 90-х годов, этически настроенные и сами презиравшие себя за это, ужаснулись перед “твердокаменным” и покорились ему. Он стал центром притяжения людей нового типа. Он сам ковал его, неумолимо преследуя сарказмами и оскорблениями мягкотелого интеллигента. Из евреев, кавказцев и русских нищанцев, он создавал свою гвардию — хищников и бойцов. То, как он умел (хотя и не всегда) укрощать этих тигров подполья, не менее удивительно, чем обуздание волчьей стаи Октября». Да и субъективно, идущие к власти большевики, по мысли Федотова, чувствовали себя мессианистами-интернационалистами, а не «русскими»: «В эту эпоху Ленин и особенно Троцкий менее всего чувствовали себя русскими революционерами. Подобно Радекам и Раковским, это были бесплотные духи (“бесы”), жаждавшие воплотиться в любой стране. Они могли бы спуститься в тело Австрии или Германии, если бы Россия не развалилась первой...».

Итак, главное отличие «ленинцев» от старой русской революционной интеллигенции состояло не в их максимализме (максимализмом нельзя было напугать русскую интеллигенцию), а в их *абсолютном имморализме*: «Печатью этого имморализма отмечен весь октябрь и его дело — вплоть до последних трансформаций Сталина, — писал Федотов в годы сталинского террора в статье «Февраль и Октябрь» (1937). — Это нечаевский корень, который принес свой достойный плод в русском варианте фашизма. Кстати, и весь мировой фашизм поднялся на ленинских дрожжах...».

Большевицкий ген полного имморализма проявился и в конструировании коммунистического идеала: «Отправляясь не от защиты угнетенных, а от сохранения общества в целом, он проникнут пафосом не справедливости, а организации. Современное общество кажется ему не то что корыстным, тираническим, жестоким, но преж-

де всего плохо организованным... Новый социальный идеал оказывается родственным идеалу техническому, как бы социальной транскрипцией техники: социальным конструктивизмом. Новый человек хочет строить новый город из огромных глыб человеческих масс, и государство представляется для его сожженной совести, для его оскудевшего разума единственным и притом безграничным источником энергии» («Социальный вопрос и свобода», 1931).

Могло ли случиться иначе?

Г.П.Федотов много размышлял о возможности иных путей для России. В целой серии статей он рассуждает о нереализованности исторической альтернативы – превращения на рубеже XIX-XX вв. дворянско-помещичьей России в Россию купеческо-крестьянскую. Он, например, полагал, что первую русскую революцию можно было закончить принципиально иным образом: сравнительно мирно снять аграрные противоречия, дав простор народной хозяйственной самостоятельности. По мнению Федотова, в 1905 г. в России имели место благоприятные факторы, которых в 1917 г. уже не существовало: моральный капитал революции еще не был растрочен; существовал своего рода «национальный консенсус», когда все политические силы выступали с национальными программами, и даже большевики с их идеей диктатуры пролетариата и крестьянства еще стояли на позициях «национальной революции» и т.д. Конечно, гражданская война, в той или иной форме, и тогда была неизбежна. Но она, по мнению Федотова, имела шансы «окончиться победою опирающихся на удовлетворенное крестьянство умеренных слоев демократии». Но вместо опережающей стратегии правительство предпочло бестрепетно раздавить эмансипаторский порыв общества. Более того, сам «дворец превратился в штаб гражданской войны!» («Революция идет», 1929).

Об общем и особенном в мировом фашизме

Важным элементом социально-политического анализа Федотова является установление им типологического сходства национальных разновидностей единого, глубоко контркультурного и антихристианского по своей природе мирового явления – фашизма. Более того, он полагал, что сталинская Россия – это есть «самая последовательная страна фашизма»: «Не забудьте, что Ленин и был изобретате-

лем этой государственной формы, которую Муссолини и Гитлер заимствовали у него. А социальное содержание московского фашизма ничем не отличается от германского» («Наш позор», 1938).

Ведь главной задачей любого фашистского режима является полное овладение человеческой личностью, использованию ее в интересах государства: «Работник, солдат, производитель — вот все, что остается от человека. Государство не оставляет ни одного угла в его жилище, ни одного угла в его душе вне своего контроля и своей “организации”. Религия, искусство, научная работа, семья и воспитание — все становится функцией государства. Личность теряет до конца свое достоинство, свое отличие от животного. Для государства-зверя политика становится человеческой отраслью животноводства. Ясно, что такое самосознание государства несовместимо с христианством» («Социальный вопрос и свобода», 1931).

Согласно Федотову, по мере эволюции большевистского режима ее глубинная фашистская сущность проявляется все в большей степени: «Государство перестало быть классовым и перестало быть марксистским... Национальное сознание в очень острой и повышенной форме — национальной гордости и даже тщеславия — сменило прежний интернационализм. Спрашивается: что же отделяет теперь строй и мирозерцание СССР от фашистских держав? Как страна националистического социализма, СССР бесспорно стоит в ряду фашистских государств Европы... Сталинизм, конечно, фашизм, и притом в самой отвратительной форме. Из всех фашистских стран в России свобода удушается всего последовательнее и методы управления являются наиболее зверскими» («На смерть Горького», 1936).

С началом второй мировой войны эта позиция Федотова не только не была подвергнута им сомнению, но и еще более укрепилась. В 1939 г. в работе «Демократия и СССР» он написал: «С тех пор, как Сталин открыл эру нового русского национализма, который продолжает свое победное развитие в России, пали последние идеологические барьеры, отделяющие его от западного фашизма. Россия не страна демократии и не страна социализма в революционном смысле слова. Россия страна фашистского социализма, страна национал-социализма, — лишь более радикальная, более беспощадная в его проведении, чем параллельная германская система». И даже победа СССР над гитлеровским фашизмом была воспринята им в русле выношенной и устоявшейся концепции: в сталинско-гитлеровском противостоянии верх взяла более «радикальная» и «беспощадная» форма фашизма.

Рождение свободы

Исследование причин трагедии России, где борьба за человеческую свободу породила в конечном итоге многократное умножение рабства, привело либерала-христианина Федотова к необходимости глубинного анализа самого понятия «Свобода». Вопреки известному изречению Ж.-Ж.Руссо о том, что «человек рождается свободным, а умирает в оковах», Федотов, напротив, полагал, что «свобода есть поздний и тонкий цветок человеческой культуры». В примитивных сообществах, как и в биологическом мире, свободе еще нет места: «Там, где все до конца обусловлено необходимостью, нельзя найти ни бреши, ни щели, в которую могла бы прорваться свобода. Где органическая жизнь приобретает социальный характер, она насквозь тоталитарна. У пчел есть коммунизм, у муравьев есть рабство, в звериной стае — абсолютная власть вожака...».

Согласно Федотову, не стоит идеализировать (как это делают некоторые не очень глубокие историки) и формы античной полисной демократии. «Нас обманывает часто вольность и легкость жизни в классическую пору афинской демократии, — писал Федотов в статье «Рождение свободы» (1944). — Но эта вольность — результат разложения, скорее распущенность, чем закон жизни. ...За полтора века оказались подорваны все нравственные устои демократии, и Афины, как и вся Греция, сделались легкой добычей Филиппа <Македонского>».

Подлинная свобода, согласно Федотову, наступает не тогда, когда государственность подтачивается и разрушается, а тогда, когда происходит «утверждение границ для власти государства, которые определяются неотъемлемыми правами личности». При своем зарождении правовая свобода всегда оказывается свободой для немногих — иной она и не может быть. Человеческая свобода рождается как привилегия, подобно всем другим плодам высокой культуры.

Драма России заключалась в том, что она во многом была воспитана в восточной деспотической традиции. Когда все равны и беззащитны перед лицом деспота (включая и формально элитарные слои), подданные ни за что не соглашаются со «свободой для немногих, хотя бы на время»: «Они желают ее для всех или ни для кого. И потому получают *“ни для кого”*... И в результате на месте дворянской России — Империя Сталина».

Федотов приходит к парадоксальному выводу: призыв к всеобщему уравниванию, прикрывающийся лозунгами предельного демократизма, губителен для либеральных свобод, и — закономерно — не только не обеспечивает демократии, но и ведет к новому, еще более тяжкому деспотизму.

Свобода и воля

Большой заслугой Федотова-интеллектуала является разграничение в русском культурно-политическом контексте понятий «свобода» и «воля». В знаменитой статье «Россия и свобода» (1945) он дал определение, ставшее в русском либерализме классическим: «Личная свобода немыслима без уважения к чужой свободе; воля — всегда для себя... Воля есть прежде всего возможность пожить по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами... Воля торжествует или у выхода из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми...».

Поэтому русская «воля» (часто обманчиво принимаемая за подлинную свободу) не страшна для тирании, ибо является лишь ее оборотной стороной. «Она <воля> не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. ...Так как воля, подобно анархии, невозможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит себе выражение в культуре пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвенной страсти, разбойничества, бунта и тирании».

Искушение западными свободами и правами, которыми постоянно облучаются не вполне культурные русские слои, включая высокомерных, но в сущности тоже полуобразованных «западников», обращается «русской волей» и порождает не правовой порядок, а анархию и хаос. «Прикосновение московской души к западной культуре, — писал Федотов, — почти всегда скидывается нигилизмом; разрушение старых устоев опережает положительные плоды воспитания. Человек, потерявший веру в Бога и царя, утрачивает и все основы личной и социальной этики».

Россия и Польша

Духовное спасение России виделось Федотову в «зарождении чувства, потребности, любви к свободе». Но это могло свершиться только как результат осознания очевидной вещи, в которой боялись признаться искатели национальной идеи в глубинах народной души: «Свобода в своих истоках всегда аристократична». А потому русский культурный класс, считал Федотов, должен, как минимум, перестать инфантильно восторгаться в отечественной истории победами самодержавного деспотизма над боярской и дворянской фрондой. Федотов был уверен: без укрепления либеральных свобод (пусть сначала

элитарных) невозможна в перспективе и широкая демократизация. «Боярская свобода в средневековье, — писал он, — обеспечила бы нам дворянскую конституцию в XIX веке и всенародную — в XX-ом».

Пересматривая национальное прошлое, Федотов призывал внимательнее присмотреться к судьбе соседней, столь близкой и столь далекой Польши. В известной работе «Польша и мы» (1939) он писал о том, что трудность взаимного понимания двух культур нельзя объяснить только памятью прошлых и ощущением настоящих обид — за этим непониманием стоит противоположность духовных типов и социального строя. В общем виде это глубинное противоречие Федотов формулировал так: аристократическая свобода шляхетской Польши против уравнительного деспотизма самодержавной России.

В своей истории Польша шла путем обеспечения либеральных свобод меньшинства, хотя и ценой полного безучастия к закрепощенным массам. Русское самодержавие, напротив, имело в своей основе уравнилельные тенденции, нивелирующие всех подданных без исключения перед лицом высшей власти. Победивший в России большевизм лишь продолжил и развил эту традицию, которую Федотов называл «всеобщим равенством нищеты и рабства».

Опыт Польши, хотя и драматический, мог бы стать полезным уроком для России: «Не с высоты мужицко-пролетарской гордости надо смотреть на ее шляхетское безумие. Если бы нам хоть в малой доле той любви к свободе, которая в чистом виде, в национально-аристократической исключительности, губит Польшу! Ее отрава была бы нашим спасением».

Вслед за Александром Герценом, христианский либерал Федотов был лишен малейшего великодержавия по отношению к эмансипации Польши. Как известно, на «польском вопросе» спотыкались многие отечественные диссиденты: стоило полякам в очередной раз заявить о претензиях на независимость, как это немедленно возвращало многих наших интеллектуалов под сень великодержавного официоза. Иначе рассуждал Федотов: он считал, что, борясь за свою независимость, поляки борются и за свободную Россию. (Следуя той же логике, Федотов поддержал и независимую Финляндию в войне против сталинского СССР: «Финны борются за русскую свободу...»)

Как выбраться из большевизма?

Верный своей культурно-исторической концепции, Федотов и в эмиграции продолжал делать ставку на постепенное накопление в России творческо-европейского потенциала. Разумеется, восстано-

ление его в России, подвергшейся небывалой деевропеизации и массовому геноциду культурных слоев, представлялось ему делом долгим и трудным. По его мнению, при большевиках Россия вернулась в допетровскую эпоху, когда не существовало различия между служилым классом и остальным обществом: «“Свободная профессия” стало каторжным клеймом в России... Россия кишит полуинтеллигенцией, полужайками... Старые человеческие запасы иссякают...» («Социальный вопрос и свобода», 1931). Сознательное понижение русской культуры стало при большевиках государственной политикой, способом выживания режима: «Большевики, ревнивые к военным и финансовым основам своей власти, совершенно не заинтересованы в защите русской культуры. Они предадут ее на каждом шагу, вознаграждая приманкой русофобства ограбленные и терроризированные окраины».

Но проблема была еще и в том, что среди радикальных противников сталинизма Федотов очень часто встречал тот же самый антикультурный человеческий тип, который ранее, обрядившись в марксистские одежды, и привел Россию к катастрофе: «Дух ленинского имморализма оживает в стане реакции. ...В стане контрреволюции происходит настоящая процесс обольщивания... Люди убеждены, что низость или жестокость средств является прямой гарантией успеха... Так растут у пня поваленного Белого движения ядовитые грибы новой всероссийской Чеки» («Февраль и Октябрь», 1937). Подвергаясь естественной критике коллег по эмиграции, Федотов не побоялся назвать это явление «моральным обольщиванием», понимая под этим соединение политического максимализма с полной неразборчивостью средств: «Гражданская война во многих из нас воспитала политический цинизм, доходящий иногда до полного отрицания всякой связи между политикой и моралью. Крушение “белой мечты” могло только обострить горечь озлобленных душ. Политический макиавеллизм легко развивается на чувстве бессилия и горечи поражения» («Возвращенцы и активисты», 1937).

Таким образом, Г.П.Федотов был одним из первых русских политических мыслителей, кто обратил самое серьезное внимание на то, что и в большевистской России, и в антибольшевистской эмиграции «развелось немало людей, соблазненных легким успехом большевизма, которые не прочь сменить в седле Сталина и хлестать измученную лошадь по глазам и шпорить до кишок окровавленные бока, пока она не издохнет». «Эти люди преступники или сумасшедшие, — заявляет Федотов. — Мы объявляем беспощадную борьбу доктринарам и максималистам, чьим бы именем они не прикрывались... Пора перестать сумасшедшим управлять Россией».

Время показало, что Федотов не был политически наивен, когда утверждал, что освобождение России, ее возвращение в Европу возможны не путем верхушечных политических переворотов, а лишь как результат поступательного наращивания европейской культуры. «Среди тьмы русской жизни, среди казней, предательства, лжи, окутывающей все густой, непроницаемой пеленой, одна мысль сейчас утешает, дает надежду: в России читают Пушкина, — писал Федотов в 1937 г., в год столетия со дня гибели поэта. — Совершается преодоление классового сознания; в рабочем, в крестьянине родился человек, и Пушкин стоит у купели крестным отцом».

Чем объяснить эту «политическую дерзость» режима, этот непонятный «пушкинский либерализм»? Наивностью или политическим расчетом? Скорее всего, рассуждал Федотов, это — лишь очередное проявление традиционного на Руси презрения власти к народу: «Пусть читают! Быдло никогда не поймет!». «А что, если поймет? — вопрошает себя и соотечественников Г.П.Федотов. — И Пушкин станет сеятелем свободы в родной стране?»

Г.П.Федотов верил, что «творческо-европеистский» тип личности может быть воссоздан в России. Конечно, писал он в принципиальных для себя «Проблемах будущего России», «духовный тип, сложившийся на кальвинистских дрожжах, пересадить на православную почву — довольно сложная задача. Но она разрешима в порядке не стилизации, а творческого усилия. Можно прибавить, что на русской почве этизация капиталистического предпринимательства естественнее и легче, чем на почве католической, романской Европы».

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕЙДЛЕ:
«Чем дальше отходила Россия от Европы, тем меньше становилась похожей на себя...»

Предисловие

Владимир Васильевич Вейдле — крупнейший историк, культуролог, эссеист и поэт — одна из последних фундаментальных фигур русской эмиграции двадцатого века. Известный православный богослов протоиерей Александр Шмеман, близко общавшийся с Вейдле в Париже, говорил о том, что Владимира Васильевича даже как-то «неуклюже и смешно» определять банальным словосочетанием «культурный человек». «Был он не “культурным человеком”, а неким *поистине чудесным воплощением культуры*: он жил в ней и она жила в нем с той царственной свободой и самоочевидностью, которых так мало осталось в наш век...», — писал Шмеман в некрологе на смерть Вейдле. Поразительно также то, что Владимир Вейдле, будучи лично знаком с Блоком, Андреем Белым, Николаем Гумилевым, Ходасевичем, Маковским, — человек по сути современной эпохи; он прожил длинную жизнь и скончался летом 1979 г. в Париже в возрасте 84 лет.

Владимир Вейдле принадлежит к плеяде выдающихся деятелей русской эмиграции (в этом ряду можно также назвать Степуна, Федотова, Зайцева, Осоргина), кто в своем неприятии советского большевизма выбрал не прямолинейно-партийную линию политического противостояния, а долговременную стратегию борьбы за русскую культуру, которая, — верили они, — если она возродится и разовьется, непременно рано или поздно сбросит «большевизм», паразитирующий на русском варварстве.

Сам Вейдле говорил о себе так: «Я гожусь в хранители, а не в разрушители. Да и “культурник” я, а не “общественник”; ничего с этим поделать не могу. Лувр больше люблю, чем Палату депутатов; если пришлось бы выбирать, выбрал бы Лувр. Социальная (как и всякая

другая) несправедливость вовсе не мила моей душе, но я выберу ее, — для себя выберу лохмотья и черствый хлеб, — если справедливости будут достигать ценой снижения и распыления культуры».

Поразительно, но именно «культурная стратегия», неброская, несуетная, но глубокая и принципиальная, сделали из Владимира Вейдле одну из наиболее действенных фигур антитоталитарной борьбы и культурно-нравственного преодоления большевизма.

До эмиграции

Владимир Васильевич Вейдле родился 1 марта 1895 г. в Петербурге в обрусевшей немецкой семье. После окончания Реформатского училища поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, который окончил в 1916 г. Учился у таких выдающихся историков как Дмитрий Власьевич Айналов и Иван Михайлович Гревс. Молодой историк оказался тогда и в центре петербургской литературно-художественной жизни: писал стихи в духе акмеизма, близко знал молодых Ахматову и Мандельштама.

Большевистского октябрьского переворота и разгона Учредительного собрания Вейдле в Петрограде не застал. В поисках свободы мысли и преподавания молодой приват-доцент отправился, как он писал, «в достославный город Пермь»: сперва на поезде в Рыбинск, оттуда на пароходе вниз по Волге, потом вверх по Каме. Здесь в Пермском университете (созданном сначала как филиал Петроградского университета) кафедру истории возглавил друг Вейдле, Николай Петрович Оттокар — историк-медиевист, тоже ученик И.Гревса. Вскоре Оттокар стал деканом Пермского истфака, был некоторое время ректором университета. Законченное им уже в Италии исследование о борьбе семейных кланов в средневековой Флоренции было издано на итальянском языке и принесло автору профессию во Флорентийском университете и звание почетного гражданина города Флоренция. Там он и похоронен...

В Перми Владимир Вейдле поселился рядом с университетом, «на мешковской Заимке». С 1918 по 1921 гг. был профессором Пермского университета. Позднее Вейдле вспоминал о своем преподавании в Перми: «А студенты и студентки ведь пермяками и пермячками были в большинстве. Столичные, однако, наставники их (и я в том числе, когда стал заниматься ими) вполне были ими довольны. И все мы, со своей стороны, не испорченной пищей их питали, не примешивали никакой заранее припасенной и не нами состряпан-

ной идеологии к тем наукам, в которые мы их вводили... Все наши профессора... придерживались умеренно либеральных взглядов и от политики держались вдалеке. Октябрю, когда о нем узнали не порадовался среди них никто... Но какой-нибудь контрреволюционной активности не проявляли. Считали, что университет при любом режиме — ах, какими оптимистами были! — останется университетом. Физики, мол, никакой большевик не переделает; а римское право тоже ведь исправлению задним числом не подлежит. Насчет фальсификации истории не только никто себе не представлял..., но и понятия такого в мыслях ни у кого не было. И насчет марксистского ее истолкования никто у нас, кажется, не беспокоился по той простой причине, что и понятия о нем не имел». «Одним словом, — подводит итог Вейдле, — находились мы в состоянии райской невинности. Не вкусили еще от плодов древа познания добра и зла...».

25 декабря 1918 г. армия А.В.Колчака заняла Пермь, однако вскоре перешла к обороне. Вейдле был призван на военную службу в Белую армию, но служил недолго. Университет, после захвата красными, летом 1919 г. эвакуировался в Томск. В марте 1920 г. большевистская власть перевела университет опять в Пермь. Но работа здесь потеряла для Вейдле смысл (идеология и здесь победила науку), и Вейдле возвращается в Петроград.

10 августа 1921 г. состоялось знаковое для Вейдле и всей русской культуры событие. Хоронили Александра Блока; Вейдле нес его гроб на плечах на Смоленское кладбище. Тогда он сказал: «Прощание с Блоком — это и прощание с Россией...». Именно тогда, в кладбищенской церкви, стоя рядом с Ахматовой и Андреем Белым, почти за три года до отъезда своего из России, Вейдле ощутил, что Россия распалась надвое, и той ее части, к которой он себя относил, по-видимому, уже нет места на родине: «Никогда охоты у меня не было ни к каким группировкам, объединениям, движениям, союзам, партиям принадлежать. Но молчаливое это самомнение мое меня ведь-таки зачисляло в какое-то большое целое, в пишущую, мыслящую Россию. Плохо ей теперь приходилось. Горжусь, что включил я себя в нее, пусть сознанием одним, не подвигом, ни даже малым каким-нибудь делом, тогда, в то тяжкое для нее время, в тот особо трагический и решающий для нее год».

Молодой историк, литератор, поэт Владимир Вейдле пережил в России поражение культуры и ее распад. Участвовать в этом распаде служитель культуры Вейдле не мог и не хотел. По словам Александра Шмемана, «опытом этого распада — любованье оказалось претворенным в служение, любовь к культуре — в борьбу за подлинную ее сущность».

Вейдле никогда (ни в России, ни потом во Франции) не был политическим противником левой доктрины как таковой. Он как-то написал: «Я — не фанатический приверженец какого-либо одного, противопоставляемого всем другим государственного строя. К социальным утопиям не склонен, идеалы социализма считаю убогими, унижающими человека, но из капитализма отнюдь кумира себе не творю... Дело было в идеологии — не вообще идеологии, хотя бы и коммунистической, — а в тоталитарности ее. Сама она, этой тоталитарностью своей, этим захватом всех областей жизни и духовной жизни вышла за пределы политики (или политическим сделала все на свете), а потому и чуждых политике людей, вроде меня, сделала врагами своей политики». И далее: «Вопрос о присвоении прибавочной стоимости или о том, кому принадлежат орудия производства, мало меня интересовал. Но тирания захватившей власть тоталитарной идеологии страшнее всех тираний, когда-либо существовавших на земле».

В июле 1924 г. Владимир Вейдле эмигрировал из большевистской России под предлогом научной командировки; в октябре 1924 г. приехал в Париж, где и прожил до конца жизни. Многие годы он работал профессором христианского искусства в парижском Богословском институте; его фигура, его личность и труды стали одним из важнейших центров русской культурной эмиграции. Это о таких как Вейдле сказал писатель Роман Гуль: «Они унесли с собой Россию»...

Протоиерей Александр Шмеман вспоминал о Вейдле: «В темные годы немецкой оккупации, читал он на частной квартире, почти “конспиративно”, цикл лекций о русской поэзии. Я убежден, что никто из слушавших его, не забудет вдохновенного чтения им Пушкина, Баратынского, Тютчева, Блока, Ахматовой. Этим чтением совершал он некое светлое торжество России и нас, молодых, навсегда посвящал в него...».

После второй мировой войны Вейдле преподавал в Европейском колледже в Брюгге, университетах Мюнхена, Принстона, Нью-Йорка. Близко знал европейских знаменитостей — Клоделя, Валери, Элиота, Беренсона. Свободно владел пятью европейскими языками. И хотя сам предпочитал писать по-русски, но и французы считали его блестящим стилистом. Вейдле был удостоен престижной литературной Риварольевской премии, а министр культуры Франции Андре Мальро наградил его званием «Кавалера ордена литературных заслуг».

О мировоззрении, идеологии и тоталитаризме

По формальной классификации исследователей творчества Вейдле его общественные идеи принадлежат к «христианскому либерализму» или, как выразился литератор Юрий Иваск, «новому западничеству»: «Это западничество — не белинско-герценовское, а христианское, но включающее и античное наследие — общее для всей Европы...».

Истинная творческая свобода Личности, лишенная всех партийно-идеологических ограничителей, — вот идеал Вейдле. Философской основой этой позиции является противопоставление им «мировоззрения», которое вырабатывается творческим личностным усилием, — и «идеологии», всегда тяготеющей к утопичности и партийному упрощению. Вот этот замечательный философский фрагмент о фундаментальном различии «мировоззрения» и «идеологии»: «Мировоззрение, — пишет Вейдле, — нестрогое единство, мыслительная протоплазма личности... Идеология — система идей, более или менее умело, но всегда нарочито и для известной цели спаянных друг с другом; система мыслей, которых никто более не мыслит. Их принимают к сведению и тем самым к руководству; мыслить их, это значило бы их подвергнуть опасности изменения. К личности идеология никакого внутреннего отношения не имеет, она даже и навязывается ей не как личности, а как составной части коллектива или массы, как одной из песчинок, образующих кучу песка...».

Наиболее органичной основой для творческих мировоззренческих поисков личности, по мысли Вейдле, является христианство — важнейший духовный субстрат европейской культуры. Но там, где выветривается эта первохристианская основа, где понижается тонус культурного творчества, там зарождаются монстры тоталитарных идеологий. Эти идеологии тоже порождены Европой, но Европой дехристианизированной и опошленной.

А что же Россия? Культурная Россия, по мысли Вейдле, — это неотъемлемая часть христианской Европы; эта христианская Европа была в свое время разделена, и ее православная часть была насильно отброшена к Востоку. Но проблема России не столько политико-географическая; она еще и в том, что Россия — самая уязвимая и хрупкая часть европейской культуры: здесь культурный слой как нигде узок. Вейдле часто метафорически уподоблял Россию «огромной ватрушке», которую «скаредная хозяйка едва прикрыла тонким слоем творага».

Вот почему за культуру (и в этом смысле — за Европу) в России приходится постоянно и особенно настойчиво бороться. Огромную роль в выявлении и закреплении европейского призвания России

сыграл Петр Великий. Конечно, Петр проделал лишь начатки культурной работы. «Ограниченность его была велика, но все же не превышала его гения... Он воспитывал мастеровых, а воспитал Державина и Пушкина; он думал о верфях и арсеналах, но вернул Европе Россию, а за ней весь православный мир, поворотом с востока на запад восстановил единство христианского мира, нарушенное разделением Римской Империи... Он многое в России покaleчил и многое окостенил, но в самом главном он успел — как не слишком заботливый хирург, ничего не спасший больному, кроме жизни...».

Действия Петра были во многом импровизацией, порожденной огромной личной волей, но общий вектор развития был угадан правильно. Да и сам Петр воспитывался в европейской христианской традиции. «Когда ему не было еще и двенадцати лет, — писал Вейдле, — в октябре 1683 г., во всех московских церквях служили благодарственные молебны по случаю освобождения Вены от турецкой осады: басурманской столицей та раскольничья, стрелецкая, избяная Белокаменная все же не была. Когда Петр, подросши, растолкал, взбудоражил ее, осрамил и развенчал, когда он всю страну “вздернул на дыбы” и выстегал заморской плетью, многое так и осталось поруганным и оскверненным, но переворот был все-таки направлен верно, окно прорублено на Запад, а не на Восток. Доказательством этому служат все дальнейшие двести лет, и, прежде всего, тот необыкновенно бодрый и быстрый рост государственной, хозяйственной и созидательно-духовной жизни, которым было отмечено время от Ломоносова до Пушкина».

Владимир Вейдле всю жизнь иронизировал над популярной и до сих пор периодически реанимируемой версией о том, что Россия цивилизационно — не Европа, а некая «Евразия»: «Если называть Евразией Россию, — язвительно замечал он, — то уж, конечно, с меньшим правом можно называть Испанию Еврафрикой... Остается поэтому объявить Сиду, а заодно и Дон-Кихота национальными героями ливийских кочевых племен, а создавшую их страну — начисто исключить из европейского культурного круга».

О русском европеизме и русской самобытности

Европеизация России, как «возврат в Европу» после долгого отлучения, по мысли Вейдле, принципиально отличается от модернизации стран Востока. Не стоит путать европеизацию России и модернизацию, например, Индии или Японии. «Эти страны (Индия, Япо-

ния) сохраняют своеобразие вопреки европеизации и ровно в той мере, в какой она не завершена; Россия заложенное в ней своеобразие только вернувшись в Европу и смогла полностью осуществить. Она стала, конечно, более похожей на западные страны, чем была до того, но это существование не уничтожило несходства, а сочеталось с ним и привело к цветению, которое вне такого сочетания было бы невысказано...». «Если бы Петр был японским микадо или императором ацтеков, — написал как-то Вейдле, — на его земле завелись бы со временем авиационные парки и сталелитейные заводы, но Пушкина она бы не родила».

Итак, согласно Вейдле, воссоединение с Западом означало возвращение Россией своего законного места в Европе, то есть обретение самой себя: «Русской культуре предстояло не потерять свою индивидуальность, а впервые ее целостно приобрести, — как часть другой индивидуальности. Европа — многонациональное единство, неполное без России; Россия — европейская нация, неспособная вне Европы достигнуть полноты национального бытия».

Этот вывод — один из фундаментальных для русского культурного европеизма: свою подлинную самобытность Россия может обрести только в Европе. Наивны или лукавы те, кто думает, что чем дальше от Европы, тем якобы больше самобытности — дело обстоит как раз противоположным образом: «Утверждаясь в Европе, Россия утверждалась и в себе. Современникам Екатерины это было так ясно, что споры, связанные с этим, касались лишь частных дел, а не существа дела; и почти столь же ясно это было современникам Александра I-го».

Итак, ключевой вывод: в Европе Россия не теряет, а, напротив, обретает свою самобытность. «Золотой век» русской самобытной культуры наступал именно тогда, когда Россия была частью культуры общеевропейской. И наоборот: вне Европы Россия теряет свою самобытность. Поэтому европеизм и самобытность не только не противоречат друг другу, а, напротив, плодотворно подпитывают друг друга. Пример тому — великий Пушкин, в котором подлинный европеизм и глубочайшая русскость слились воедино.

Но что же приключилось с великой петербургской Россией, казалось бы, вернувшейся в Европу? Последующая историческая драма, по мысли Вейдле, заключалась в утрате правящим слоем России «петровского», культурно-просветительского импульса. Более того: сам «культурный класс», русская интеллигенция, будучи продуктом и двигателем европеизации, сама со временем породила в своей среде настроения и тенденции, ставшие орудием отчуждения России от Европы.

Классический русский спор «западников» и «самобытников» был поначалу вполне внутриевропейским явлением высокой культуры. Речь шла о том, на какую Европу ориентироваться: на христианскую и допросвещенческую, еще не затронутую прогрессистскими искусностями, — или уже на секулярную, познавшую вкус гражданственности и правового строя? Но, родившийся на вполне европейской почве и ставивший по сути общеевропейские проблемы, спор отечественных западников и самобытников постепенно внутренне деградировал, что привело к обоюдному партийному самоупрощению обоих лагерей. Личностные культурные усилия заменила «партийность», а мировоззренческий поиск и творчество был подменен все более затвердевающими и не терпящими диссидентства идеологиями. Поэтому как «самобытническая», так и «западническая» партии, равно деградировавшие, внесли общий вклад в понижение русской культуры, а следовательно, и в отчуждение России от Европы. Их общими жертвами часто становились подлинные европеисты, не укладывающиеся в прокрустово ложе партийных идеологий.

Так, будучи сам убежденным «западником», Вейдле многократно защищал в своих текстах великого поэта, мыслителя и дипломата Федора Тютчева от нападок полуинтеллигентов из формально своего же собственного западнического лагеря, которые записывали европеиста Тютчева в «антизападники» только на том основании, что Тютчев вполне справедливо критиковал «рабское подражание Западу», сравнивая иных русских прогрессистов с «дикарями», «кои бросаются на вещи, выброшенные им кораблекрушением...». Вейдле писал: «Он <Тютчев> не только усвоил европейскую культуру, но и европейскую землю чувствовал своей землей. Мыслил он европейски, т.е. исходя из целого Европы, просто потому, что иначе мыслить не умел, и Россия была для него хоть и Восточной Европой, а Европой. Настоящий Восток был ему чужд, и ничего азиатского он в русском не искал... Тютчев не одобряет русского нарочитого европеизма, т.е. рабского подражания Западу, но это значит также, что двух цивилизаций, двух культур, русской и западной, для него нет, а есть лишь одна европейская, одинаково принадлежащая Западу и России...».

По мысли Вейдле, такие фигуры, как Тютчев (сегодня мы и самого Вейдле можем с полным правом поставить в этот ряд) были абсолютно правы, когда считали русский европеизм проблемой культурного творчества, а не подражательства. Потому что в истории русского «западничества» действительно существовали периоды «преувеличений и односторонностей», вроде «галломании» или

«пенкоснимательства и западнического чванства, никогда не исчезающих из русской действительности». Псевдоевропеизм русских подражателей, пренебрегавших национальной спецификой и стиравших ее, где только возможно, как это ни парадоксально, мог поставить под угрозу подлинное возвращение России в Европу: «Опасность денационализации России была реальна, и те, кто с ней боролся, были тем более правы, что лишенная национального своеобразия страна тем самым лишилась бы и своего места в европейской культуре...». Подлинный русский европеизм обязан быть творческим и синтетичным: он «уже не согласится ни с славянофилом, готовым в некотором роде довольствоваться народным тоническим стихом, ни с западником, уху которого стих Кантемира должен казаться более радикально-“европейским” и, значит, передовым, нежели стих Пушкина...».

Но еще более губительными для русской культуры стали новые «заигрывания» как русского официоза, так и русского нигилистического диссидентства с идеями «самобытности» (равно высокомерные по отношению к культурной Европе). Новое отчуждение (пусть лишь частичное) России от Европы в последней трети девятнадцатого века имело для России фатальные последствия: «Как только затуманилось для нас лицо Европы, тотчас постигла нас странная сонливость и повсюду стали замечаться уныние, застой, убыль духовных сил. Наши шестидесятники заклеили окно на Запад прокламациями и подметными листками, отказались от всего его богатства ради горсти лозунгов, ничего не дававших мысли, но пригодных для борьбы. Как бы ни расценивать эту борьбу и всю их деятельность с других точек зрения, с точки зрения культуры она была в высшей степени вредоносна. Недаром проявляли они столь крайнюю нетерпимость ко всем инакомыслящим и столь резкую вражду ко всему, что нельзя было поставить на службу политике (разумеется, *их* политике): к религии, философии, поэзии, искусству и даже к научному знанию, непригодному для пропаганды и не направленному на непосредственное удовлетворение практических нужд». Все это, по мысли Вейдле, привело к «провинциализации» России, очень верно отраженной великим Чеховым и в конечном счете послужило к образованию того умственного склада, который вскоре стал характерен уже не только для верхних, и даже не для средних, но и для низших слоев интеллигенции. Именно этот слой «полуинтеллигентов», использовавший отчуждение от европейской высокой культуры в качестве своего жизненного субстрата, и восторжествовал в России после Октября: «Полуинтеллигенты пришли к власти, а интеллигенция более высокого культурного уровня оказалась выгнанной или уничтоженной. В Рос-

сии началось снижение культуры, а потом и сдача ее на слом при Сталине, вместе с отчуждением от остальной Европы, достигшем размеров невиданных в послепетровские времена. Россия отходила от Запада... Самобытность она этим не приобрела. Наоборот, чем дальше отходила, тем становилась меньше похожей на себя...».

Каков же был конкретный механизм этого понижения и опошления русской культуры в среде русской «псевдоинтеллигенции»? Здесь Вейдле формулирует еще одну историософскую мысль, которую в таком целостном и одновременно четко афористическом виде я более ни у кого не встречал. Речь идет о проблеме «своего» и «чужого» в культуре и истории. По мнению Вейдле, партийные идеологи-полуинтеллигенты, рядящиеся либо в тогу «западников», либо «самобытников» (по-сути неважно) и в основном имитируя непримиримые расхождения, на самом деле в главном *едины*. И те и другие равным образом *неправомерно противопоставляют Россию и Европу* и тем самым играют в общую контркультурную и в этом смысле антироссийскую игру. «Безоговорочное и непримиримое противопоставление России Западу, Запада России есть ядро идейного комплекса, любопытного прежде всего тем, что его создали и дружно развивали ни в чем другом не согласные между собой умы: исключительные приверженцы всего русского в России и фанатические поклонники Запада на Западе...». И далее: «И те, и другие стремятся возвеличить “свое” путем умаления “чужого”, не понимая относительности различия между своим и чужим, и само стремление это приносит им заслуженную кару, неизбежно приводя к сужению своего, которому начинает отовсюду угрожать их же собственными усилиями раздутое, разросшееся чужое. Ревнивые европейцы окапываются за Рейном и Дунаем, а наши собственные самобытники отступают от Невы к Москве-реке, покуда и Москва не показалась им еще недостаточно восточной». Отсюда общий драматический результат: «Вместо осознания России, как органической составной части Европы, от нее временно отделенной и имеющей вернуться в ее лоно, сохраняя при этом свою особенность, свое неповторимое лицо, у нас стремились либо закрепить навсегда ее отдельность, либо совершить непоправимый отказ от ее особой судьбы, от исторической ее личности». В этом смысле «грех» русских радикальных западников Вейдле видел в том, что «им очень хотелось сделать Россию Европой, но они упорно забывали, что Россия уже Европа», и в своем прогрессистском усердии часто безжалостно вытапывали то, что по сути было европейским.

Итак, самобытники отрицали Европу, а западники отрицали Россию. Но и те, и другие противопоставляли Россию Европе, и большевикам оставалось проделать лишь нехитрую идеологическую компи-

ляцию — совместить пороки обеих концепций: «Революция в советской ее форме, роковым образом унаследовала оба отрицания... Отрицание Европы, от которой она Россию отторгла, и отрицание России, которой она навязала глубоко ей чужой... бездушный техницизм». Иначе говоря, большевики, убив Европу в России, радикально отторгли Россию от Европы, но тем самым они уничтожили и саму Россию, нивелировав ее с другими коммунизирующимися сообществами.

«Трудное возвращение в Европу»

Для Вейдле СССР — принципиально не был и не мог быть наследником российской государственности: «Ведь эти четыре буквы или четыре слова всего лишь ко всем услугам готовая и ради них придуманная кличка, которая при случае подошла бы к Патагонии или Австралии не хуже, чем к Москве... И обозначает она, конечно, не душу России и даже не ее тело, а лишь универсального покроя мундир, напыленный на нее совершенно так же, как он напылен на многие другие страны и который закройщики его готовятся напылить на весь мир». Равным образом, и РСФСР («Российская советская...» и пр.) ничего общего не имеет с Россией: «Россия тут хоть и упомянута, но в виде прилагательного, как если бы человека назвали не Иваном, а ивановской разновидностью блондинов среднего роста».

В России произошла трагедия, но эта трагедия, по мысли Вейдле, является общей для всей культурной Европы. Ведь уничтожение России как части Европы не может быть безразлично самой Европе. Важно всем признать, что Россия в данной ситуации расплачивается не только за свои, но и за общие, в том числе общеевропейские, грехи. При этом формой расплаты является не только русский коммунизм, но и итало-немецкий фашизм и «нет в мире ни одной страны, вполне неповинной во взрождении этой двойной отравы». Не любил Вейдле и американского дегуманизованного техницизма, часто самодовольно противопоставляющего себя «старой Европе». Он полагал, что антикультурный американизм — это такой же «вывих» и «болезнь» Европы, как и советский большевизм: «Россия и Америка... Обе страны поражены наиболее крайней формой утилитарно-технического идолопоклонства, так как все отличия рядом с этим отступают на второй план. В России идолу принуждают поклоняться, в Америке поклоняются ему свободно; первое — страшней, но второе, пожалуй, еще безвыходней...».

В конце жизни Вейдле надеялся, что, переболев большевизмом, получив этот исторический урок и преподав его другим нациям, Россия сможет вернуться в Европу и там, своим примером, послужит предупреждением для самой Европы от новых возможных всплесков антикультурной, тоталитарной варваризации: «Разучилась Россия — под кнутом разучилась — мыслить себя Европой, а все-таки, если спасется она из-под кнута, если вернет себе свою историю, она воссоединится с Западом и будет снова не только христианской, но и европейско-христианской страной».

Итак: Россия — часть Европы, но она так же самобытна и единственна, как и любая другая страна Европы. Это парадоксальное умозаключение и сегодня может резать слух не только правоверных «самобытников», но и иных западнических «идеологов-партийцев», на животном уровне отторгающих сами слова «самобытность», «особое призвание» и пр. И европеист Вейдле хорошо понимал это. «Как это я, прославивший западником, — вопрошал он, — могу говорить о единственности России, ... о ее миссии в отношении остальной Европы? Но отчего же нет? Быть Мессией — одно; обладать особым призванием — совсем другое. Давно пора понять, что Россия так же единственна в европейском целом, как Англия или Италия. Причем значение части для целого как раз и определяется ее несходством с другими ее частями». Европа здесь уподобляется оркестровой гармонии инструментов, где каждый имеет свой смысл, свой стиль и свою задачу, но звук которого может раскрыться только в общем симфоническом звучании.

Каков же вывод делает Вейдле из этих историософских размышлений? Он ясен: «Пора вернуться в Россию. Не нам, а России, детям и внукам всех тех, с кем мы расстались, когда мы расстались с ней. Пора им зажить в обновленной, но все же в той самой стране, где мы некогда жили, в России-Европе, в России, чья родина — Европа. Из нерусского, мирового по замыслу, но Европе враждебного СССР пора им вернуться в Россию и тем самым в Европу; пора им вернуться на родину».

Возвращение России в Европу — это возвращение в свою, европейскую культуру. Скончавшийся в 1979 г. Вейдле верил в новую постбольшевистскую Россию, которая просто обязана будет «заново прорубить окно — не в Европу даже, на первых порах, а в свое близкое и родное, но наполовину неведомое ей, украденное у нее прошлое». «Чтобы это случилось, — писал в конце жизни Вейдле, — нужно вымести сор из избы, убрать гнездящуюся по углам путаницу и мертвечину; нужно совесть раскрепостить, нужно выбросить за окно отрепья давно исчерпавшей себя, давно беспредметной идеологии. Срок для этого настал. Люди для этого есть. Пора нашей стране очнуться, прозреть, пора зажить на ветру, а не взаперти, новой, зрячей, полноценной жизнью...».

Послесловие

...В молодости Владимир Вейдле считался неплохим поэтом; был завсегдатаем знаменитого поэтического кабаре «Бродячая собака». Но потом он резко бросил стихосложение. Но вот, спустя почти полвека, в семидесятилетнем возрасте Вейдле вдруг снова ощутил в себе поэтический дар. Его подвигла на это Италия — Венеция, Рим, Неаполитанский залив, те самые места, которые он впервые посетил в 16-летнем возрасте и которыми пропитался на всю жизнь (в Венеции, например, он в конце жизни бывал ежегодно — иногда по несколько раз). Но что характерно?... Начав в юные годы писать вирши в нарочито усложненном акмеистском стиле, он в конце жизни «впал» (как сказал бы другой великий поэт) «в немыслимую простоту», кристальную и строгую, очень далекую от старческого сентиментальничанья. Но и здесь, в поздней философской лирике, Вейдле мучается темой «возвращения», трактуемого также и как христианское «воскресение», — и «невозвращения», безвозвратного ускользания, исчезновения и утраты.

Именно об этом одно из любимых им самим стихотворений — «Берег Иский». Это вблизи Неаполя, 1965-й год, всего двенадцать строк...

Ни о ком, ни о чем. Синева, синева, синева,
Ветерок умиленный и синее, синее море.
Выплывают слова, в синеву уплывают слова,
Ускользают слова, исчезая в лазурном узоре.
В эту синюю мглу уплывать, улетать, улететь,
В этом синем сиянии серебряной струйкой растаять,
Бормотать, умолкать, улетать, улететь, умереть,
В те слова, в те крыла всей душою бескрылой вращая...
Возвращается ветер на круги свои, и она
В синеокую даль неподвижной стрелой несется,
В глубину, в вышину, до бездонного синего дна...
Ни к кому, никуда, ни к тебе, ни в себя не вернется.

...Здесь невольно приходят на память мемуары Владимира Вейдле о его последнем дне на родине, в июле 1924 года, в любимом им Петербурге (иных названий города он не признавал), накануне окончательного отъезда в эмиграцию. Он вспоминал, как пошел в тот последний день в Эрмитаж, и в пустом зале опустился на колени перед картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына»...

**БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЧИЧЕРИН
и ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ:
Два понимания русской свободы**

**Доклад на конференции памяти Б.Н.Чичерина и И.С.Аксакова,
Москва, июнь 2004 г.**

Давно отмечено, что изначальный спор классических российских западников и славянофилов был спором о правильном понимании «русской свободы» — о том, в чем она состоит и откуда произрастает, кто является ее выразителем, а кто врагом. Именно отсюда, из спора о русской свободе возникло и общее увлечение немецкой философской классикой, и острые дискуссии о характере и судьбах русского народа. Из этого же корня проросла и системообразующая для спора западников и славянофилов полемика вокруг центральной фигуры русской истории — Петра Великого: дал ли Петр шанс на будущую русскую свободу или, напротив, убил тот потенциал свободы, который был в допетровской Московии. ...И в этом смысле совершенно прав был Александр Герцен, когда описывал странную «любовь-ненависть» ранних русских западников и славянофилов: «Головы смотрели в разные стороны, но сердце билось одно...». Ведь это обоюдное, сердечное, экзистенциальное переживание было общей тревогой о русской свободе и общей надеждой на ее обретение.

В отечественной истории замечено и другое: последующее вырождение спора российских западников и самобытников привело к деградации самой России. Я сам многие страницы исписал, доказывая, что русский большевизм — это своего рода «дурной синтез» западничества и самобытничества, результат взаимного опошления, отсеечения всего позитивного, и в итоге — обоюдная возгонка русской «Азиопы» (искомой и ненайденной «Евразии», только навыворот), как назвал опошленный результат евро-азиатского взаимовлияния Павел Милуков.

В России реализовалось то, чего не хотел никто, — «дурной синтез» западничества и самобытничества. Произошло переплетение западнического по происхождению экспериментаторства над народом с имитацией самобытнического культа народа. Российская культура оказалась в ловушке; ей оказались заблокированы оба творческие пути, способные подпитывать друг друга: она оказалась неспособна ни двигаться вперед, к апробированным мировым универсалиям, ни творчески культивировать собственную традицию.

Подтвердилась гениальная интеллектуальная догадка Ивана Киреевского, высказанная в одном из писем Алексею Хомякову, о том, что вопрос не в том, кто в России победит — западники или самобытники. Поскольку и те, и другие абсолютно имманентны России и в принципе неустранимы из нее, важно не *кто* победит, а *каков будет результат их взаимодействия*.

Последующая история России показала правоту постановки вопроса Киреевским: оба (и западнический, и почвеннический) лагеря в России деградировали соответственно в революционаристско-нигилистический и в консервативно-реакционный проекты. А их взаимодействие и дурной синтез («смесь революции и реакции», как говорил когда-то Герцен) создали идейные основания коммунистической утопии и тоталитарной практики.

Еще и еще раз анализируя печальную эволюцию западничества и самобытничества в России, приходишь к выводу о том, что их обоюдная деградация происходила тогда, когда вместо позитивной самоидентификации, выявления и предъявления собственного конструктивного потенциала (эти процессы неизбежно вели бы к углублению взаимопонимания, где-то — к прямой конвергенции) эти лагеря начинали структурироваться и жить на основе отрицательной (негативной) самоидентификации. Основным идентификатором западничества стала нелюбовь к традиционной России; идентификатором самобытничества стала ненависть к Западу — вот этот переход к негативной самоидентификации стал трагическим для обоих лагерей. Взаимодействие именно этих тенденций и спровоцировало идейно-политическую войну, как и последующий рост на этом фоне тоталитарного монстра — «Азиопы», дурного синтеза Востока и Запада.

В большевистской утопии можно при желании разглядеть как западнические, так и почвеннические исходные ингредиенты — хотя и изрядно мутировавшие в ходе взаимодействия. Русский большевизм — это результат взаимной подпитки западного мифа об авангардной роли передового класса и почвеннического мифа о благостной и неиспорченной душе народа. Взаимопереплетение просветительского

мифа о форсированном прогрессе с консервативной идеей о возвращении к доисторическому «золотому веку» дало чудовищный результат. Идею прогресса взяло на вооружение варварство.

Могло ли в России произойти иначе? Или, выражаясь словами того же Ивана Киреевского, могли ли оба лагеря в России развиваться так, чтобы их неустрашимое взаимодействие оказалось не губительным, а благотельным для России? Где произошли те доктринальные мутации оппонирующих идей о «русской свободе», которые привели в своем взаимодействии к величайшей в истории Несвободе? А главное: можно ли разрушить этот кармический круг русских «дурных синтезов»? Ведь мы очевидно пребываем в одном из них и сейчас...

Все эти вопросы уместно и полезно поставить именно сегодня, когда мы проводим мемориальные мероприятия памяти двух выдающихся представителей оппонирующих русских партий – западника Бориса Чичерина и славянофила Ивана Аксакова. Возможно, именно здесь, в этой точке западническо-самобытного спора о России можно попытаться понять, был ли шанс исторического взаимопонимания двух лагерей для их последующего благотельного взаимодействия.

Разумеется, сегодня мы не в состоянии задним числом помирить старых оппонентов, но мы можем другое: например, вскрыть межпартийные и правительственно-манипулятивные механизмы идейно-политического раскола, а также представить эскиз возможного идеологического «собираания» («конструирования») либерально-почвенного синтеза и формирования в нем иммунных, защитных механизмов от очередного опошления.

В этом смысле представляется, что Борис Чичерин и Иван Аксаков, как исходные фигуры для гипотетического либерально-консервативного примирения, выбраны вполне удачно. При том, что оба они были яркими представителями своих лагерей, они, несомненно, не были их крайними непримиримыми выразителями; они умели видеть «чужую правду» и живо откликались на любое встречное движение.

Борис Чичерин – либерал-западник, но при этом государственный и в известном смысле «почвенник». Как человек провинциальный, тамбовский, он был совершенно лишен столичного снобизма и был бесспорным патриотом. Иван Аксаков был славянофилом, но при этом несомненным либералом, ставя во главу угла свободы и права не просто народа, а «общества» – «оличенного», как он говорил, народа.

Характерно и то, что в жизни Чичерин и Аксаков неоднократно и по весьма важным проблемам сходились в оценках и пристрастиях – это чрезвычайно важно, и именно это дает серьезный шанс на «доктринальное примирение».

Чичерина и Аксакова, например, всю жизнь сближал Пушкин — эта синтетическая русская фигура, в которой органично и непротиворечиво слились «русскость» и «европейскость».

Многие годы Чичерина и Аксакова сближал еще и Герцен — несомненно культовая фигура для русских свободолобцев разного толка, выросших на почве отрицания николаевской политики. Оба примерно в одно и то же время (1857—1858 гг.) впервые выехали за границу, и каждый, хотя и порознь, воспользовался этой возможностью для «паломничества» к Герцену, в Лондон.

Обоих мыслителей по жизни сблизил и обоюдная симпатия к некоторым практическим деятелям эпохи «великих реформ» Александра II — например, к Юрию Самарину и князю Владимиру Черкасскому. Материал для сближения здесь очевиден: оказалось, что умные и практичные славянофилы могут в России вполне двигать европеистские по сути реформы. Весьма характерна, например, оценка, данная Чичериным кн. Черкасскому: «Хотя Черкасский примыкал к славянофилам, но, в сущности, у него славянофильского не было ровно ничего. Он не поклонялся древней России, весьма неблагоприятно смотрел на русскую общину, не возводил русского мужика в идеал, был поклонником свободных учреждений Запада, а в религиозных вопросах в эту пору был скептик...». И далее — ключевая фраза, которую Чичерин с полным правом мог бы адресовать и Аксакову: «В практическом отношении Черкасский считал более удобным и полезным проводить либеральные идеи под патриотическим знаменем, в чем, может быть, и не ошибался».

Сближало Чичерина и Аксакова и ощущение Москвы как естественного национального центра России. Как известно, в речи по поводу коронации Александра III московский городской голова Чичерин позволил себе слова о том, что «только в Москве можно обрести те крепкие основы, то верное понимание смысла народной истории, то чутье истинных потребностей народной жизни, которые предохраняют от легкомысленных увлечений и от слепого следования за мимолетными авторитетами». Здесь либерал-западник Чичерин наметил верную тенденцию к «опочвовлению либерализма», за что, кстати, ультразападнический, петербургский лагерь развернул чуть ли не травлю Чичерина. А вот славянофил И. Аксаков искренне и с энтузиазмом поддержал тогда московского городского голову.

Итак, мировоззренческое схождение западника Чичерина и славянофила Аксакова оказалось вполне реальным. Но еще важнее то, что возможность в России позитивного синтеза европеизма и самобытности (на основе простой констатации: Россия — это Европа, а

европеизм – важнейший элемент русской почвы) доказана в России и практически. Скажу даже больше: в тех исторических результатах, которые можно отнести к заслугам российского либерализма, мы непременно находим итог совместного труда либералов обеих мастей – как западников, так и самобытников.

Блестящий результат был, несомненно, достигнут в александровских реформах. Здесь усилия западников: вел.кн. Константина Николаевича, Александра Головина, братьев Николая и Дмитрия Милутиных, интеллектуалов-просветителей Бориса Чичерина и Константина Кавелина (не забудем здесь и великих русских женщин-европеисток – великую княгиню Елену Павловну и баронессу Эдиту Федоровну Раден) – эти западнические усилия благотворно сошлись с действенным либеральным славянофильством кн. Черкасского, Александра Кошелева, Юрия Самарина, с гражданской активностью Ивана Аксакова.

Зримым позитивным результатом западническо-почвеннического либерального синтеза стало и российское земское движение, провициальный действенный либерализм, в котором такие очевидные западники, как Иван Петрункевич и Федор Родичев, князья Петр и Павел Долгоруковы, князь Дмитрий Шаховской, умели находить общий язык с земцами-славянофилами типа Дмитрия Шипова или Николая Хомякова.

Русское гражданское западничество и русское свободолюбивое почвенничество великолепно сошлись в «либеральном консерватизме» Петра Струве, в «русской северной вольности» литератора Михаила Осоргина, в «христианском либерализме» Федора Степуна, Георгия Федотова и Владимира Вейдле. Закономерно, например, что главным кумиром юного Петра Струве был не кто иной, как Иван Аксаков).

И сегодня, как представляется, общая европеистская стратегия на построение в России гражданского общества и правового государства вполне могла бы учесть те многочисленные рациональные элементы, которые содержались в либеральном славянофильстве того же Ивана Аксакова, но были затоптаны и в ходе межпартийных доктринальных междоусобий, и в ходе очередных реинкарнаций отечественной бюрократической «Азиопы».

Напомним, что именно славянофил Иван Аксаков по существу первым (и задолго до большинства западников, бывших зачастую этактистами) поставил вопрос о том, что субъектом гражданской эмансипации России должно стать не государство, а «общество», которое он понимал как «народ самосознающий».

Не кто иной, как Аксаков, одним из первых предупреждал, что «модернизация сверху» (в том числе и при наличии официальной риторики о «западническом курсе») чревата приходом на службу государству безыдейных и беспринципных «опричников», готовых на любое, самое безнравственное действие. Как верно заметил позднее Иван Солоневич, это, как правило, кончается в России ЧК и ГУЛАГом, — и характерно, что своим прямым предшественником в такого рода анализе Солоневич считал именно Ивана Аксакова.

Именно свободолюбец Аксаков почти полтора века назад пророчливо предупреждал, что имитация и профанация демократии и парламентаризма в известной степени хуже их полного отсутствия, ибо дезориентирует общественное мнение.

И, наконец, именно Ивану Аксакову принадлежит ставшая сегодня бесспорной мысль о том, что свобода слова и мнения является неотчуждаемым правом человека и часто бывают в России ситуации, когда у общества остается только одна возможность борьбы с всеподавляющей властью — сила публичного нравственного осуждения.

**ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ СТРУВЕ
и МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ОСОРГИН:
Два лика российского либерализма**

**Доклад на международной конференции памяти П.Б.Струве и
М.А.Осоргина, Пермь, февраль 2003 г.**

Давно отмечено, что в многообразном историческом контексте идей и действий либерализм, как умонастроение и как политика, занимает особое место. В отличие от двух других базовых мировоззрений и принципов — *охранительства* и *радикализма*, которые тяготеют к монолитности и иерархичности, либерализм по определению гораздо менее однозначен и монолитен. В нем, в либерализме, заведомо встроена внутренняя динамика, диалогичность, несогласие, порою конфликтность. Можно сказать, что в широком смысле либерализм (и русский либерализм здесь не исключение) — это сложнейшая гамма умонастроений и действий в пространстве между охранительством и радикализмом. Чем это пространство шире и разнообразнее, тем благополучнее и устойчивее общество.

В авторитарном социуме такая внутренняя сложность, саморефлексия («самокопание», как у нас говорят на Руси) могут восприниматься как недостаток — сегодня только ленивый не обвиняет либералов в том, что они не могут договориться. Но замечено и другое: в условиях социально-политической модернизации эта внутренняя динамика либерализма становится (и опыт многих стран это ярко показывает) мощнейшим фактором общественного прогресса. Поэтому понять внутреннюю логику русского либерализма, его внутреннее напряжение и динамику, суммировать интеллектуальные завоевания, осознать причины исторических сбоев — все это огромная работа, и не только историческая, но и крайне актуальная и перспективная.

Понять русский либерализм лучше всего через исследование его внутренней динамики и диалогичности — не искусственно сбивая русских либералов в некую однородную массу (как у нас часто быва-

ло и бывает), а через пристальное вглядывание в разнообразные лики русских либералов. Понять силовые напряжения этого внутрилиберального диалога, на мой взгляд, — самое интересное.

Наша конференция посвящена памяти двух великих русских либералов — Петра Струве и Михаила Осоргина. Их внутренний, во многом заочный (хотя бывал и очный) диалог, диалог двух русских свободолюбцев, логика их согласий и несогласий, и станет главной темой моего доклада.

Прежде всего, есть достаточно много даже чисто внешних фактов, которые делают этот внутрилиберальный диалог ненадуманым, вполне корректным и потому потенциально плодотворным. Оба родились в Перми. Оба окончили юридические факультеты: Струве — Санкт-Петербургского, Осоргин — Московского университета. Оба в молодости переболели радикализмом, были осуждены властью за студенческие сходы и, освободившись, отправились в первую эмиграцию. И Струве, и Осоргин несомненно принадлежат к «золотым перьям» русской публицистики; их принадлежность к самой высшей лиге русской пишущей интеллигенции бесспорно. Оба поддержали Февраль, а после Октября 1917 г. перешли в принципиальную и открытую оппозицию большевизму. Оба были выброшены во вторую, послеоктябрьскую эмиграцию, и оба умерли на чужбине в годы второй мировой войны, в оккупированной фашистами Франции: Осоргин в холодном декабре 1942 г. в Шабри; Струве, через год с небольшим, в еще более холодном феврале 1944 г. в Париже.

Но, разумеется, переключка этих внешних фактов биографии — это лишь пролог к главному — к анализу их внутрилиберального диалога, который может многое сказать на тему «общего и особенного в отечественном либерализме».

Я полагаю, что либерализм и Струве, и Осоргина вырос из их *патриотизма*, из последовательно развиваемой патриотической позиции. Если угодно, и Струве и Осоргин (наверное, здесь сказались и пермские корни) — это, как ни странно это прозвучит, «*либералы-почвенники*», это «*фундаментально русские люди*». Это определение — «*фундаментально русский человек*» — дал своему другу Осоргину другой большой русский писатель-эмигрант — Борис Зайцев. Но это определение в полной мере относится и к Петру Струве: как известно, его либерализм (и Струве сам это неоднократно подчеркивал) вырос из либерального патриотизма славянофила Ивана Аксакова.

Получается, в основе либерализма и Струве, и Осоргина лежало не некое изначальное «западничество» (об их отношении к Западу еще будет специальный разговор), не обожествление Запада и не по-

сыпание головы пеплом по поводу необратимой отсталости России. Напротив, в основе либерализма и Струве и Осоргина лежали переживание за Россию и глубокая вера в потенциал России. Поэтому их либерализм хотя и абсолютно принципиален, но совсем не сакрален. Он основан на здравом смысле и достаточно практичен: либерализм для них способ сделать родину более благополучной.

«*Либерализм — это и есть истинный патриотизм*» — это центральный тезис Петра Струве, к которому тот шел последовательно, отвечая на один и тот же вопрос: «А в чем заключается патриотизм истинный?» И, разумеется, к окончательному ответу «либерализм есть патриотизм» Струве пришел не сразу. Он, как и Осоргин, переболел социальным максимализмом, но верной путеводной звездой для него всегда была позиция Ивана Аксакова.

И главным здесь было не славянофильство Аксакова как таковое, а его патриотизм и антиэтатизм, гениальные формулы Аксакова, снискавшие ему громкую славу общественника: «Наличная русская власть не защищает русские национальные интересы, а предает их»; «Наличная власть антинациональна и антипатриотична, а потому потакать ей и пресмыкаться перед ней — тоже глубоко антипатриотично». Эти мысли Аксакова стали для юного Струве откровением. Этот парадокс: «власть может быть антинациональна» и «любить такую власть и прощать ей всё — антипатриотично» сродни прозрению великих либералов-просветителей, что дестабилизация и хаос могут исходить не только от черни, но и от коронованных особ и правящей лжеэлиты. Произошло разрушение априорного тождества власти и национального интереса. Выяснилось, что наличная власть и национальный интерес — разные вещи (помните, у Салтыкова-Щедрина: «...не надо путать родину с начальством»). Более того, если власть непатриотична, то патриотично заменить такую власть...

Отсюда и разгадка эволюции взглядов Струве и Осоргина (да и не только их): слева — направо. Поначалу и Струве, и Осоргин ищут наиболее антиавтократичную идеологию и находят ее в левой идее, переживают увлечение социализмом. Именно патриотическое переживание толкнуло Струве сначала к марксизму: известна его фраза о том, что марксистом его сделали не книги, а русский голод 1890-х годов. Но в конечном счете они оба рвут с левым радикализмом, ибо хотя он на какое-то время и оказывается хорошим инструментом для борьбы с антинациональной властью, но сам этот инструмент все более выявляет собственный антипатриотический потенциал, который до времени был скрыт под радикальной антивластной риторикой.

Позже Струве эволюционировал еще правее, к либерал-государственничеству, так как увидел отсутствие патриотизма уже не только во власти, но и в радикальном интеллигентском сообществе. Отсюда критика Петром Струве русской радикальной интеллигенции: та тоже «путаёт Родину с начальством» и, беззастенливо круша «начальство», часто бьет по России. Антигосударственность общества нисколько не лучше для Струве антиобщественности государства. Априорной правоты или неправоты нет ни у власти, ни у общественности, и бороться надо не со всякой властью и не со всякой общественностью, а с антипатриотизмом во всех обличьях, с «отщепенчеством от России» (термин Струве).

Что касается Михаила Осоргина, то он, как человек более художественного, нежели политического склада, пришел к пониманию истинного патриотизма скорее интуитивно. Впрочем, слово «пришел» по отношению к Осоргину не вполне корректно. Никуда он особенно «не ходил», нигде «не плутал»... Можно сказать, что Осоргин естественным образом *«пророс в либерализм»*. «Либеральный интуитивизм» Осоргина, сочавшийся из его произведений и блестяще описанный в мемуарах Бориса Зайцева, этот своеобразный осоргинский либерализм — это стремление к русской вольности, не разгульно-анархической, а упорядоченной личной порядочностью и нравственным законом.

В конечном счете Петр Струве, последовательно пройдя круги критики антипатриотичности государства, потом критики антипатриотичности общественности, заведомо зная о разрушительном потенциале русского бунта, находит критерий истинного патриотизма в знаменитом тезисе о *«личной годности»*. Формулировка этого личностного критерия национального патриотизма — окончательно закрепляет Струве на позициях крупнейшего теоретика либерализма. Много перечитывая Осоргина, его поздние автобиографические «Времена», его знаменитый роман «Сивцев Вражек», я пришел к выводу о том, что литератор Осоргин во многом стоит на тех же принципах, что и политик Струве. Критерий «личной годности» был для него эталонным всегда, и в первую очередь по отношению к самому себе.

И Струве, и Осоргина можно было бы назвать *«русскими протестантами»*: оба вернулись к первоисточкам русского диссидентства, где человек более уповал на личностное нравственное самостояние, чем на принадлежность группе. И это логично и также пристает из их патриотизма: лояльность группе заслоняет личностное отношение к родине. Патриотизм для них — это личностное переживание. И, мо-

жет быть, поэтому и Струве, и Осоргин, несмотря на то, что оба всегда находились в центре общественно-политической жизни, всегда были так интеллектуально и политически *одинокими*.

Теперь о «западничестве», правильнее сказать, *европеизме* Струве и Осоргина. И здесь мы у обоих наблюдаем сходное самоощущение: *полное отсутствие комплекса неполноценности по отношению к Западу*. Некоторые крупные авторы (в их числе Николай Бердяев) определяли вульгарное западничество как «подростковый синдром» — сочетание комплекса неполноценности и острого желания быть, или хотя бы казаться, взрослым. Так вот, и Струве и Осоргин — это органичные европейцы, «взрослые русские европейцы». Со Струве несколько более понятно: он этнический немец, он двухкультурен, и любимый Штутгарт для него — не вполне граница, а скорее культурно комфортное, органичное место для работы во имя России.

С Осоргиным несколько сложнее. Так получилось, что судьба эмигранта сделала его «русским итальянцем», в первую очередь «русским римлянином». Осоргин — абсолютно свой в Италии, оставаясь при этом глубоко русским. (Не зря после Февральской революции Милюков предлагал Осоргину пост посла Временного правительства в Италии — лучшей кандидатуры было не сыскать. Тот отказался.) В своей книге «Знаменитые русские о Риме», в главе об Осоргине, я привожу несколько фактов этой органичности русского европеизма Осоргина. Он, например, любил писать свои заметки и репортажи на римском Форуме, в т. наз. «домике Цезаря», сидя на большом удобном камне в тени молодых дубков. И здесь нет никакой стилизации и ни малейшей позы, а есть европейская органика во имя творчества.

Или другой пример: будучи в первой эмиграции, Осоргин неоднократно бывал гидом групп русских учителей, приехавших в Рим по линии благотворительного фонда графини Бобринской. И он как-то описал сложнейшую гамму чувств русских интеллигентов, когда они ночью, на пустой арене ночного Колизея вдруг хором запели: «Вниз по матушке, по Волге». Это был способ выражения культурного восторга породнения с европейской историей, без малейшего признака русского холопства, или напротив, его оборотной стороны — русского хамства.

Следует добавить, что и у Струве, и у Осоргина политический либерализм не заслоняет всего интеллектуального горизонта. Культура для обоих была выше политики. Осоргин вообще был аполитичен: по свидетельству Марка Адданова, основная особенность Осоргина была в том, что «он был, вероятно, единственным русским публицистом, который политику и презирал, и терпеть не мог...». Да и для Струве,

как для подлинного либерала, культура — есть главное. Поэтому-то в его текстах сам термин «культура» — полисемантичен; это аналог и развитой нации, и состоявшегося гражданского общества.

В чем состояли несогласия — и немалые — Струве и Осоргина? На мой взгляд, они наиболее ярко проявились в их принципиально разным отношении к русской антибольшевистской эмиграции за рубежом и той России, которая осталась в России большевистской.

Струве считал большевизм насильственным разрушением российской цивилизации. Для него это была победа внутреннего и внешнего варварства над исторической культурной Россией. Отсюда его отношение к эмиграции — как к самоспасению культурной России. Согласно Струве, это вообще не эмиграция, а *географическое перемещение российской цивилизации*, перемещение российской культуры в пространстве. В знаменитой статье «Россия» 1923 г. он писал, что в «русском беженстве» проявилась не политическая и не социальная эмиграция, а «обусловленное уничтожением элементарных основ хозяйственной и правовой жизни географическое перемещение сознательной духовной жизни России». Струве считал, что русская эмиграция сродни таким историческим явлениям, как перемещение греческой образованности в Италию после падения Византийской Империи или исход католиков и католической культуры из стран победившего протестантизма, где католики подвергались религиозным преследованиям.

Что касается Михаила Осоргина, то он относился к эмиграции принципиально иным образом. Известно, что он, например, долго отказывался в эмиграции менять свой советский паспорт. И здесь была своя — глубинная — либеральная логика. «Было бы поистине малодушным настаивать на своей безотечественности и своем бесподданстве! — писал Осоргин. — Нет, я русский, сын России и ее гражданин! Я желаю нести ответ за нее, за ее чудачества, за природные качества ее народа и выходки ее правителей, которых я допустил, я терпел, я не сверг. О нет, этой ответственности я с себя слагать и права не имею, и по совести не хочу...».

Осоргин верил в силу русской нации, способную преобразовать власть. Да, как патриот-либерал он считает, что коммунистическая власть — антинациональна. (Я уже говорил о том, что, по собственному свидетельству Струве, политиком его окончательно сделал народный голод начала 1890-х. Готов утверждать, что окончательно либералом и антибольшевиком Осоргина тоже сделал советский голод начала 1920-х, когда он стал одним из лидеров Комитета помощи голодающим — «Помгола». А что же власть? Она разогнала «Помгол» и

посадила, а потом выслала его лидеров, в том числе Осоргина.) Поэтому антинациональность большевистской власти для Осоргина, как и для Струве, совершенно очевидна. Но, в отличие от Струве, Осоргин не считает полезной простую механическую замену этой власти. Должна быть проведена глубинная, содержательная работа нации и общества: «Россия даже из большевизма, явления антинационального и антидуховного, извлечет и извлекает живые в нем соки; энергию, сопротивляемость, дерзание... Если еще очень многим не приметны эти первые ростки будущего России, то это потому, что непомерна затрата сил, идущих на сопротивление: черную, упрямую и сапожищами утопанную землю пробивают эти ростки; и процент их гибели колоссален; но и жизненность их неодолима. Кто выжил в России в годы революции — того нечем сокрушить; что за эти годы создано там вопреки разрушительной внешней силе — то действительно прочно и жизненно...». Вывод: для Осоргина эпоха большевизма была великой благодаря тому, что была активизирована сопротивляемость национального организма. Нельзя отождествлять завоевания нации и завоевания власти: многое в России делается и будет сделано не благодаря, а вопреки власти.

Сегодня, когда большевистский режим рухнул, можно спросить: кто же оказался исторически более прав из них — Струве или Осоргин? А вот это решается сейчас и сегодня, когда наследие русской эмиграции возвращается к нам. Струве более уповал на спасительную миссию эмиграции. Осоргин, внесший огромный вклад в культурное творчество эмиграции, верил, однако, и в творческую силу сопротивляющейся и непокоренной большевизмом России. Сейчас происходит эта встреча: встреча двух России, двух культур и двух географий. Наследие эмиграции встречается с постбольшевистской Россией, чтобы восстановить единство русской истории. Насколько плодотворной, нравственно очищающей будет эта встреча — зависит в том числе и от нас.

**СЕМЕН ОСИПОВИЧ ПОРТУГЕЙС:
«Только медленными молекулярными наслоениями произойдет
духовная и политическая европеизация России...»**

Предисловие

Интеллектуальное наследие русской эмиграции постепенно возвращается на родину. Не секрет, однако, что плодотворный в целом процесс политической и духовной реабилитации русского изгнанничества шел в последние годы во многом спонтанно и не был лишен элементов конъюнктурности и вкусовщины. В результате некоторые интереснейшие российские мыслители до сих пор остаются так и не признанными в России. Это в полной мере относится к Семену Осиповичу Португейсу (1880–1944), которого близко знавшие его современники считали равным по литературно-публицистическому таланту таким корифеям отечественной мысли, как Федор Степун или Георгий Федотов. Автор предлагаемого читателю текста поставил перед собой задачу не только вернуть России очередное забытое имя, но и показать, что С.Португейс был своеобразной и в чем-то уникальной фигурой русской эмиграции, а именно — *первым профессиональным советологом*.

Молодые годы: выбор пути

С.О.Португейс (наиболее известные литературно-политические псевдонимы — «Ст. Иванович» и «В.И.Талин») родился в 1880 г. в бедной многодетной семье ремесленника-еврея в Кишиневе — городе, который был традиционным местом ссылки подозрительных и неблагонадежных. «Снизу вверх, — писал один из биографов Португейса Б.Николаевский, — он выбился тем путем, который едва ли не один оставался открытым для талантливой молодежи этого слоя: через уча-

стие в революционном движении...»¹. Уже в юные годы Семен Португейс попадает в политический кружок одного из наиболее образованных марксистов, Д.Б.Гольдендаха, ставшего впоследствии известным под именем «Рязанов». С того времени и сам Португейс смел не мало имен и псевдонимов («Соломонов», «Мартын Малый», «Ст. Иванович», «В.И.Талин»), в круговороте которых запутались не только тогдашние чины сыска и надзора, имевшие неплохие навыки в дешифровке, но и менее искушенные позднейшие историки и библиографы, так и не сумевшие в полной мере совместить все эти многочисленные «лики» в личности одного человека.

Между тем Б.Николаевский был не вполне прав, абсолютизируя фатальность ухода юного Португейса в революцию: у способной молодежи того слоя, из которого он происходил, все-таки оставалась еще одна возможность закрепиться в жизни — путь медленного и кропотливого профессионального роста в своей ближайшей этнокультурной и бытовой среде, менее зависимой от ограничений «черты оседлости». К слову сказать, сама эта тема — соотношение медленной культурной работы, «эволюции быта» и насильственной «ломки истории» — станет впоследствии одной из главных в политологических сочинениях Португейса-Талина-Ивановича.

В 1901 г. двадцатилетним юношей он первый раз едет в Германию и поступает в техникум в Мангейме; в 1902 г. переезжает в Мюнхен, где оканчивает еще и школу пивоваров. Казалось, выбор однозначно сделан в пользу «быта». Однако Европа не только давала прочную специальность, но и невероятно расширяла кругозор, а стало быть, и круг запросов. Известный меньшевик Г.Аронсон на собственном опыте знал, о чем писал, когда в некрологе на смерть С.Португейса в 1944 г. заметил: «Заграница тогда на свой лад перекраивала планы и судьбу рвущейся к лучшей жизни русской молодежи. То, что было заложено в кружке Рязанова, возшло в Мюнхене»². Парадоксальным образом выбор в пользу Европы, культуры, просвещения все-таки оказывается выбором в пользу революции. Спровоцированные властями кишиневские еврейские погромы закрепляют эту ориентацию — Семен Португейс с головой уходит в социал-демократическую работу.

Его первые литературные опыты состоялись в одесском «Южном обозрении», которое редактировал А.С.Изгоев (Ланде), будущий член кадетского ЦК, один из авторов знаменитых сборников «Вехи» и «Из глубины», а в те годы еще марксист и умеренный социал-демократ. В 1904 г. после очередного обыска Португейс бежит в Женеву, где под псевдонимом «Соломонов» публикует в «Искре» ряд статей-корреспонденций. Он — активный участник всех швейцарских эмиг-

рантских дискуссий, где обращает на себя внимание социал-демократических вождей, каждый из которых пытается перетянуть талантливого оратора и публициста в свой лагерь — не только фракционный, но, как принято в этой среде, и клановый. Ю.Мартов предлагает писать популярную брошюру для «Искры»; Л.Троцкий уговаривает ехать в Мюнхен. Однако предчувствия скорых событий на родине тянут Португейса назад, в российские революционные центры.

В бурном 1905 г. он арестовывается в Петербурге и высылается в родной Кишинев, откуда переезжает в Одессу. Здесь он популярный оратор в студенческих аудиториях и на площадях. Имя «Мартына Малого» приобретает известность в кругах политизированной молодежи. Тогда же с группой друзей (среди них — будущий известный большевик С.И.Гусев) он захватывает контроль над маленькой одесской газетой и делает ее «рабочей». Название остается прежним — «Коммерческая Россия»; девиз меняется: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Бывшая заштатная газетка становится первой легальной рабочей газетой в России; тогда же у редактора появляется псевдоним «Степан Иванович», в память безвременно ушедшего одного из основателей РСДРП Степана Ивановича Радченко.

Б.Николаевский верно замечает: «Семен Осипович, несомненно, был прирожденным писателем, принадлежал к числу тех людей, которые, говоря словами Михайловского, лучше всего думают, если в руках имеется перо для занесения этих дум на бумагу...»³. Поверив в свое революционное и литературное призвание, Португейс-Иванович переезжает в Петербург, где активно сотрудничает в меньшевистских и непартийных газетах, толстых журналах и сборниках: «День», «Современный Мир», «Образование», «Литературный распад», «Вершины». В 1906 г. начинает печататься в газете «Современное Слово» (согласно сложной типологии Г.Аронсона, «непартийно-левокадетской с заметным социалистическим уклоном»⁴), где за ним закрепляется слава одного из лучших русских политических фельетонистов. В те же годы Португейс примыкает к группе петербургских меньшевиков во главе с А.Н.Потресовым. Он останется ближайшим другом и сотрудником Потресова вплоть до смерти последнего (в 1934 г.), безоговорочно признавая его авторитет и, когда требуется, всегда уходя в тень лидера. Для меня несомненно, однако, что, при всей значимости партийно-революционной биографии Потресова, Португейс оказался теоретически намного зорче и талантливее его: он вырос не только во влиятельного политического публициста, но и в ученого-политолога, по существу, одного из основателей «научной советологии».

Главная тема статей Португейса 1907–1914 гг. — судьба демократической интеллигенции в эпоху побеждающего бюрократического капитализма. Революционный спад, по его мнению, требует отказа от старых, сектантско-заговорщических привычек и иллюзий интеллигентской работы новых интеллектуалов с долговременным расчетом на то, что (как сформулировал Г.В.Плеханов еще в полемике с русскими народниками-бланкистами) *«эволюция непременно приведет к революции»*.

Личный опыт переживания большевизма

С началом мировой войны С.Португейс занимает позицию революционного оборончества, редактирует вместе с Потресовым газету «День», где продолжает работать и после октябрьского переворота. Однако после ужесточения большевистских репрессий он покидает Петроград и пробирается в Киев, затем в Одессу, где и находится во время гражданской войны, не выходя из меньшевистской партии, но и не участвуя активно в политике. Перед ним возникает новая дилемма — оставить Россию или «перетерпеть» новую власть, которая, как тогда казалось, не могла продержаться долго.

Некоторое время Португейс, не приемлющий большевизм скорее эстетически (страдающий, как он сам признавался, более всего от «пошлости большевистского иллюзиона»), пытается найти компромисс с режимом, работая в области статистики — излюбленной большевиками сфере «учета и контроля». Он служит начальником учетно-статистического отдела губернского продовольственного комитета, где составлялись и постоянно переделывались списки лиц, получающих продовольственные пайки («пай-граждан», по определению самого Португейса). Позднее он опишет эту претендующую на строгость и рациональность распределительную систему как «тотальный хаос», кое-как регулируемый лишь столь же «тотальным враньем» — причем как со стороны блага раздающих, так и их получающих: «Все это “регулирование” — одна сплошная чепуха; никто ничего не знает и ни о чем представления не имеет, и если все это не взрывается и не взлетает на воздух, то только потому, что установилось какое-то равновесие всестороннего обмана, когда уже никто сам не знает, когда он врет, когда правду говорит и чем собственно правда отличается от самого гнусного вранья и очковтирательства»⁵.

С особой силой чувство внутреннего отторжения всех форм «комвранья» испытал он во время работы инструктором на всероссийской переписи 1921 г. Имея в кармане мандат за подписями Ленина и Калинина (грозивший, по его ироничному замечанию, «чуть ли не каторжными работами за промедление в деле обслуживания статистов»⁶), он объезжает херсонские деревни и инструктирует мобилизованных «счетчиков», видя, однако, вокруг лишь «бездарность, тупость, хамство и озорство, делавшие смешными иллюзиями всякую попытку честной деловой работы»⁷. Себя он тоже ощущает «обманщиком, посланным обманщиками для того, чтобы превращать в обманщиков все новых и новых лиц». В результате всеобщего шарлатанства «вырастает грандиозный всероссийский обман, именуемый “итогами переписи”, на основании которых люди будут опять обманывать себя и других, и так далее до бесконечности...»⁸.

Как вспоминал Португейс, много раз ему хотелось бросить все, сесть на первую подводку, явиться к начальству и сказать: «Берите меня, вяжите меня, только больше не могу и не хочу участвовать в этой скверной комедии...». Драма, однако, состояла в том, что вне этой «комедии» он не находил для себя никакой иной роли: «Меня захватили зубчатки, шестерни, приводные ремни советского механизма, и нельзя было выскочить, вырваться из этого проклятого круга. Потому что только в кругу этого обмана я имел право жить, дышать, ходить по улицам, принимать пищу и вообще *быть*. Вне этого круга я исчезал, превращался в ничто, превращался в неприписанную душу, которой нет места на земле»⁹.

С.Португейс, по существу, первым из исследователей нарождающегося «советского порядка» склоняется к оценке большевизма не как реализации утопии тотальной социальной регламентации (большинство наблюдателей пошли именно по этому, достаточно банальному пути), но как внутренне противоречивого общества, чья относительная стабильность основана не только на репрессии, но и на «равновесии всестороннего обмана». Личный опыт переживания и осмысления большевизма «изнутри системы» стал впоследствии прочной основой и своеобразным камертоном многочисленных научно-публицистических работ С.Португейса.

Жизнь в эмиграции

В 1921 г. С.Португейс решается-таки бежать из большевистской России. С помощью контрабандистов он нелегально перебирается в Бессарабию, приезжает в Берлин, а затем Париж, где печатает памф-

лет «Сумерки русской социал-демократии»¹⁰. Здесь, в противовес либерально-кадетской и консервативно-монархической версиям о «вине социализма перед Россией», но и вопреки официально-меньшевистской позиции о якобы «непричастности социализма к большевизму», он пишет о большевизме как об «острой болезни социализма», явившейся закономерным результатом его постепенного теоретического и политического «помрачения». Эта позиция делает его маргиналом в лагере официального меньшевизма, но, с другой стороны, приемлемым, а подчас и желанным автором в умеренно центристских изданиях русской эмиграции. Начинается его плодотворная работа одновременно и как партийно-диссидентского публициста, и как независимого и оригинального социального теоретика. Очень немногим в эмиграции удалось успешно соединить в себе две эти ипостаси: одних «съела» избыточная лояльность узкопартийному направлению; другие, все более оторванные от знания и понимания того, что реально происходит в России, со временем вынуждены были покинуть сферу политической теории.

С 1921 г. С.Португейс активно сотрудничает в самом престижном журнале русской эмиграции — парижских «Современных записках» (под редакцией М.Вишняка, В.Руднева, А.Гуковского, И.Фондаминского-Бунакова и Н.Авксентьева). Весной 1922 г. он организует собственный ежемесячник «Заря», где окончательно размежевывается с официальным меньшевизмом — т.н. «Заграничной Делегацией РСДРП» и ее печатным органом «Социалистическим Вестником» (который редактировали Ю.Мартов и Р.Абрамович, а после смерти первого — Ф.Дан, Р.Абрамович и Д.Далин). «Заря» имела группы сочувствующих («заристов») в России, пользовалась поддержкой некоторых социалистических эмигрантских групп, в частности т.наз. «плекановской группы» в Нью-Йорке во главе с С.Ингерманом. К февралю 1925 г. вышло 34 номера «Зари», и практически в каждом из них появлялись статьи и заметки Португейса.

После приезда в Париж А.Потресова, признанного лидера меньшевистского диссидентства, Португейс прекращает издание «Зари». В феврале 1931 г. он организует для Потресова и его группы новый журнал, «Записки социал-демократа» (к 1933 г. вышло 23 номера). По общим оценкам, «Записки» (где распределение ролей было таким: Потресов пишет партийную передовицу; Португейс — более концептуально глубокую статью) оказались в теоретическом плане намного выше официоза меньшевиков «Социалистического Вестника». Издание прекратилось летом 1933 г., за год до смерти Потресова.

Параллельно Португейс продолжает печататься в «Современных записках», работает одним из наиболее интересных политических обозревателей в «Последних новостях» П.Милюкова. Но главное — пишет и издает монографии: «Пять лет большевизма (Начала и концы)» (1922); «Российская коммунистическая партия» (1924); «РКП. Десять лет коммунистической монополии» (1928); «Красная Армия» (1931). Каждая из этих книг готовилась долго и тщательно, с использованием большого документального и статистического материала, разными путями получаемого из России Тургеневской библиотекой в Париже, а также библиотекой Международного бюро труда в Женеве, где заведующим «русским отделом» был ближайший друг и единомышленник Португейса — С.О.Загорский.

Резонанс, вызванный в эмиграции работами С.О.Португейса, иллюстрируют, например, авторитетные отзывы на книгу «РКП. Десять лет коммунистической монополии». П.Милюков: «...капитальный труд...; для всех, интересующихся положением в России, эта книга должна сделаться незаменимым настольным пособием»¹¹; А.Потресов: «...выдающаяся работа»¹²; И.Абугов: «...счастлирое сочетание таланта публициста с глубокой эрудицией автора»¹³; Б.Зайцев: «...автор сумел дать картину, не только умно и увлекательно написанную, но и убедительно раскрывающую сущность тех процессов, в силу которых происходит внутреннее перерождение живой органической партийной ткани»¹⁴, и т.д. Налицо дружное признание того очевидного факта, что в лице С.Португейса русская эмиграция обрела профессионального исследователя-советолога.

В последние предвоенные годы, угнетенный тем, что «тупики большевизма», по которым блуждает Советская Россия, множатся и растягиваются, а также, по-видимому, и по материальным причинам, С.Португейс постепенно отходит от русских тем, больше пишет о европейском и американском рабочем движении, сотрудничает главным образом с еврейско-американской социалистической прессой, прежде всего с нью-йоркской газетой «Форвертс». Ее редактор А.Каган с благодарностью и восторгом вспоминал о той «неисчерпаемой сокровищнице идей», которую вкладывал в «Форвертс» Португейс¹⁵.

Катастрофа новой мировой войны привела С.Португейса, как и многих других русских изгнанников, из оккупированного немцами Парижа в Нью-Йорк. Туда он приехал уже очень больным и большую часть времени проводил по больницам и санаториям. Незадолго до смерти сблизился с «Новым журналом»; наметилось примирение и с «Социалистическим Вестником». В ночь на 27 февраля 1944 г. С.О.Португейс скончался в Нью-Йорке и был похоронен на кладби-

ше Нью Маунт Кармел Арбейтер-Ринга. «В его лице в могилу ушел один из наиболее вдумчивых публицистов социалистического лагеря современной русской эмиграции», — написал в «Новом журнале» Б. Николаевский¹⁶.

О «материальном» и «гражданском» в историческом процессе

Основой социально-политического мировоззрения С.О.Португейса является идея *демократизации истории*. История стабильна и поступательна только тогда, когда она опирается на неуклонный прогресс «среднего человека», формирующегося в «гражданина». Эта демократическая презумпция, кристаллизовавшаяся еще в юные годы под влиянием Гольдендаха-Рязанова, а потом и Плеханова, не могла не отмежевать Португейса, с одной стороны, от всякого рода политического сектантства и заговорщичества, а с другой — от народнического комплекса преклонения перед народом. Португейс — демократ-эволюционист, рассуждающий не о «народе», но о «гражданах», способных сформироваться только в правовой культуре современного города и развитого производства.

С.Португейса можно отнести к редкой породе адептов «либерально-демократического социализма». Современный ему либерализм он не жаловал за высокомерную элитарность, нечувствительность к проблемам большинства, а также за «буржуазность», примат экономической расчетливости над культурным творчеством. Но в то же время редко можно встретить другого автора, который, причисляя себя к «социалистам», столь активно критиковал бы пороки социалистической доктрины с позиций защиты гражданских прав личности. Многие сближало Португейса с либералами кадетского толка — немалую роль здесь сыграли прочные рабочие контакты с А.Изгоевым, а затем П.Милюковым.

Главную беду современного ему социализма Португейс видел в «диктатуре экономики», в том, что в постановке и решении общественных проблем тот ушел в сторону абсолютизации материальных факторов в ущерб культурным. По мнению Португейса, несмотря на то, что экономические формы человеческой жизнедеятельности являются «базисом» социального развития, прогресс человечества осуществляется главным образом «в вершинах надстроек» и в немалой степени состоит в постепенном высвобождении личности из пут экономической зависимости. Катастрофические спазмы мировой войны повлекли за собой обрушение культуры вниз, «к базису элемен-

тарной борьбы за элементарные потребности экономического характера». И здесь внизу, «у базиса», общественная мысль (социалистическая — в первую очередь) оказалась полностью во власти тех сторон бытия, где в человеке прежде всего выступает его экономическая функция: «Диктатура экономики явилась только как результат неслыханного обнищания человечества. Замещение гражданина работником явилось только идеологическим выражением этого обнищания»¹⁷. «Диктатура экономики» для Португейса — результат крушения культуры, отбросившего Россию далеко назад и надолго отодвинувшего осуществление искомой общественной гармонии.

Деградация социалистического сознания, отмечает Португейс, заключается в том, что «гражданина вышибает с его места, завоеванного в крови великих революций, рабочий». И вместо того, чтобы противостоять культурной деградации, русские социалисты, напротив, попытались обратить этот процесс себе на пользу и возглавили его. Большевики довели до логического конца эту «сумеречную тенденцию» социализма на умаление «принципа гражданина» и возведение «принципа рабочего». Но ведь «как только исчезает критерий гражданина, исчезает и критерий свободы» — отсюда трагическая победа в русской революции «права функции» над «правом личности»¹⁸.

Португейс следующим образом формулирует главное противоречие между культуросцентричной (гражданской) идеей социализма, приверженцем которой он считал себя до конца жизни, и максималистским, контркультурным настроем большевиков, действующим по принципу «чем хуже, тем лучше» и приведшим страну лишь к дискредитации и отдалению социализма: «Социализм произойдет от богатства. Революция всегда происходит от нищеты... Чтобы вспыхнула революция (а революции только вспыхивают), общество должно прийти в состояние крайнего упадка. Чтобы осуществился социализм, общество должно находиться в состоянии наивысшего расцвета»¹⁹.

О большевистском перевороте как «варварской форме регресса»

Важной причиной большевистской катастрофы С.Португейс считал давно обозначившийся разрыв между уровнем культуры дореволюционной русской элиты, достигшей безусловных высот в искусстве, литературе, социальной теории, — и человеческой массы, явно не способной «подпереть эти культурные максимумы»: «На высоченных, но редких скалах водились немногие орлы, а на необозримо громад-

ных болотах водились во множестве лягушки...». Но если в области искусства или литературы такую асимметрию вершин и общего ландшафта можно считать естественной и закономерной, то узкоэлитарный максимализм в социально-политической области был опасно оторван от общего уровня гражданской зрелости народа. В этом, по мнению Португейса, и состояла главная беда русского исторического развития: «У нас были громадной силы и громадной высоты прыжки ввысь, а когда в великой войне и затем в великой революции понадобился народ, понадобились массы, национальная воля и государственный разум, то вместо всего этого оказалось пустое место, превратившееся в могилу всех наших максимумов»²⁰.

В конечном итоге в России победили те, кто полагал, что капитализм — не *предпосылка* социализма, а лишь *помеха* ему. Возобладала опасная логика: «Когда капитализму худо — социализму хорошо. Когда капитализм болен — надо его добить, чтобы стал возможен социализм...». Но в том-то и дело, отмечал Португейс, что между суждениями «*невозможен капитализм*» и «*возможен социализм*» существует принципиальная логическая и политическая разница. Буржуазию можно свергнуть (это не так уж трудно, если та погрязла в преступлениях, глупа, бездарна, эгоистична до слепоты), но это будет иметь прогрессивный смысл только в том случае, если «то дело, которое она делала плохо, делать хорошо, если это, конечно, по силам тем, кто буржуазию заменит». Ссылаясь на известную формулу Жореса «*революция есть варварская форма прогресса*», Португейс полагал, что большевистский переворот — это «варварская форма регресса» и в этом смысле революцией, строго говоря, назван быть не может. Ибо только прогресс (прежде всего — расширение возможностей культурного творчества) может оправдать радикализм революционного метода. Большевизм же, нанеся главный удар по культуре, обозначил «торжество начал регресса в цикле событий, начавшихся весной 1917 г.»²¹.

Другой критерий подлинной революции — ее национально-патриотический характер. И в этом смысле «настоящей», по мнению Португейса, можно опять-таки назвать Французскую революцию: даже «варварское неистовство Конвента» было порождено естественной национальной самозащитой против внешнего врага. Варварство же большевиков родилось не из движения самозащиты нации, а, напротив, из движения национального предательства: «Те Дзержинские состояли при Дантонах, призывавших к оружию против внешнего врага, наши же Дзержинские состояли при Крыленках, призывавших к похабному миру поротно и повзводно»²².

На таком низком уровне культуры и национального самосознания революция могла оказаться лишь в буквальном смысле «переворотом», в первую очередь, механическим переворотом социальных ролей. Вместо «свободы, равенства, братства» большевистский переворот привел к новому угнетению и диктату: «Могучее инстинктивное тяготение истомленных в рабстве душ к социальной справедливости и социальному равенству не находит иного выражения кроме антитетической перестановки членов в формуле неравенства... Ибо в равенстве нет необходимого искупления прежних мук и прежнего рабства...». Вот эту-то психологию русских низов не столько, может быть, поняли, сколько инстинктивно, в стремлении схватить и удержать власть, почувствовали и использовали большевики²³.

Без всякого историсофского надрыва, столь характерного для антибольшевизма эмиграции, Португейс тщательно анализирует факторы, при которых большевизм оказался способным победить и победил. Большевизм у него — срыв восходящей революции в хаос из-за, прежде всего, поражения культуры и слоев — ее носителей. Велика здесь была роль мировой войны — апофеоза контркультурных тенденций. Ибо при всей поверхностности и непрочности европеизации России (она была, по словам Португейса, лишь «хрупкой глазурью на нашем варварстве») только война сумела пробить оболочку культуры и обнажить отечественный хаос.

И здесь, к несчастью России, нашлась политическая сила, которая сделала сознательную ставку на разнуздание русского варварства. По мнению Португейса, лидеры большевиков угадали то, что их оппоненты не видели или не хотели видеть. Именно большевики, и в первую очередь Ленин, уловили, что ближайшие годы пройдут в России под знаком хаоса, крушения самых элементарных основ общественной жизни: «Ленин предвидел, что война, другие народы разорившая, русский народ искалечит, физически и душевно искалечит, ломает спинной хребет народа... Только большевики решились духом своей партии... Тот, кому приходилось с ними спорить на митингах, кто их видел в работе до их победы, не мог не унести с собою незабываемого впечатления ставки, бесстыдно-откровенной, до конца доведенной ставки на хаос...»²⁴.

Непосредственной движущей силой переворота стали группы, деклассированные в ходе мировой войны и распада культуры повседневности: «Мир распался, и на оголенном мировом пожарищем месте стал голый, искалеченный человек, которому все нипочем. Этого человека большевики искали на фронте, среди дезертиров, среди де-

классированных масс деревни и города, среди разношерстных толп, втянутых военно-промышленной вакханалией в горячее пекло индустрии. И этого человека они нашли в количествах, достаточных для того, чтобы стихийной лавиной затопить разрозненные экземпляры человека-гражданина...»²⁵.

Иезуитская гениальность Ленина состояла в том, что он без боязни отдался этой стихии бунта, интуитивно чувствуя, что «бунт — не антагонист власти, а судорожный порыв от власти, переставшей пугать, к власти, которая внушит дрожь страха заново». Ленин оказался единственным, кто пронизательно понял, что «власть абсолютную, типа божественной, он получит, разнуждав стихию бунта...». Ленин чувствовал, что «только массу, пришедшую в ярость, потерявшую всякие следы общественного сознания, можно превратить в послушное стадо диктатора. Он знал, что через бунт она придет в изнеможенное и опустошенное состояние, на котором легче всего можно будет построить свое царство»²⁶.

Драма же демократических оппонентов большевизма состояла в том, что они опасно недооценили силы разложения и анархии, которые скопились к тому моменту в России. Впрочем, подлинная демократия все равно в то время не нашла бы в стране элементов, которые в жестокой (а иной она быть не могла) схватке могли бы победить силы хаоса: «Демократия, которая не была в состоянии идти по линии хаоса, вынуждена была искать *равнодействующую* линию между силами хаоса и идеалами демократии. Но она не была в состоянии найти достаточно мощную силу, *противодействующую хаосу*»²⁷.

Российская демократия оказалась стреноженной перед лицом большевизма еще и потому, что тот впервые в истории явил собой (следующим в этом ряду будет германский фашизм) абсолютно новый феномен — *демократизацию реакции*. «Случилось то, к чему демократическое сознание 19-го и 20-го вв. было менее всего подготовлено, — отмечает С.Португейс. — Политическая реакция из господской, из барской превратилась в реакцию народную, плебейскую. Социальная демократизация реакции — вот что ей сообщило грандиозный размах и дало ей необычайную силу. В качестве народной эта реакция легко стала впитывать в себя некоторые идеи социализма-антикапитализма, и тут-то явственно обнаружилось, какой варварской, губительной для человеческой индивидуальности силой может стать социализм, из которого выпотрошены идеи и идеалы политической демократии»²⁸.

Противоречия большевизма: методология социально-исторического анализа

Как смог удержаться и столь долго просуществовать режим, формально имевший некую социальную программу и представление об искомом политическом порядке, но в генезисе которого лежала опора на антисоциальные элементы и разрушение всякого порядка, – вот вопрос, который занял центральное место в интеллектуальном поиске С.Португейса. По основательности политико-социологического подхода его работы 1920–1930-х гг. можно сравнить разве что с ранними трудами о России молодого Питирима Сорокина, в дальнейшем, как известно, отошедшего от чисто российских сюжетов. Читая работы Португейса, основанные на анализе большого массива первичного документального материала, не создается впечатления, что они написаны вне России. Вообще фактологическая осведомленность социал-демократической эмиграции о том, что творилось в Советской России, поразительна: недаром лидеры меньшевизма заявляли, что они лучше осведомлены о том, что происходит в Совнаркоме, нежели советская партийная элита. К С.Португейсу эта оценка, по видимому, относится в первую очередь.

Оригинальность исторической концепции Португейса состоит в рассмотрении цепи исторических событий с двух противоположных ракурсов, точнее, на скрещении двух разнонаправленных аналитических стратегий. С одной стороны, каждое событие так или иначе «*входит в историю*» – в этом смысле вся причудливая цепь российских революций начала Х в. уже заняла в истории свое место. Существует, однако, и другой принцип исторического понимания, но его, замечает Португейс, применяют куда меньше: «Не только события входят в историю, но и *история входит в события*». «Иными словами, в данное событие врываются силы “диалектики”, силы социологического развития, превращающие первоначальную значимость этого события из одной в другую, нередко прямо противоположную»²⁹.

По мнению Португейса, не только большевизм вошел в историю, но и в него самого *вошла история*, вошли исторические силы, давшие ему жизнь, но жизнь эту направившие по путям, над которыми замыслы самих большевиков были уже не властны: «В большевизм вошла русская история, история русского народа и история русской страны, хотя большевизм тем и отличался, потому и прибегал и прибегает к террористическим средствам, что возымел безумное намерение запереть Россию и запереть себя таким образом, чтобы русская

история никоим образом сюда не вошла. Русский большевизм захотел быть антиисторичным, внеисторичным и надисторичным, и в этом и заключалась его крайняя “революционность”, чтобы в историю войти, а ее к себе не впустить”. Отсюда — «террористическая истеричность» большевиков, которая постоянно подпитывалась намерением «оградить себя от проникновения истории в собственный организм»³⁰. В этой связи, комментируя широко бытовавшие параллели исторической роли большевиков с деятельностью Петра Великого, Португейс всегда настаивал на их принципиальном отличии. Петр, по его мнению, прорубив «окно в Европу», *впустил историю в Россию*; Ленин и Сталин попытались *запереть Россию от истории*.

В своем анализе большевизма Португейс использует еще одну пару понятий: «История» и «Исторический Случай». Большевики, по его мнению, сами прекрасно осознают, что за них — Случай (военная катастрофа, спонтанная милитаризация сознания, нравственный и культурный обвал), но против них — История, основные законы современного развития. Война наложила временный мораторий на эти объективные исторические законы, но совсем уничтожить их даже войне не под силу. Бессмыслица коммунистической утопии как раз и состояла в том, что «случай она захотела превратить в историю, а историю, хотя бы тысячелетнюю историю России, в необязательный случай»³¹.

Поэтому глубинный смысл большевизма — не в провозглашении и попытке реализации некоего коммунистического идеала. Разветвленная коммунистическая мифология и связанная с ней изощренная политическая демагогия — это всего лишь способ удержания политической власти: «Большевизм — это только особый, глубоко оригинальный, последовательно проводимый, глубоко продуманный образ мысли, слова и дела, имеющий целью удержание у власти партии, однажды эту власть захватившей...». Разумеется, сохранение власти любыми способами — это цель и образ поведения любой захватившей власть политической силы. Но для таких режимов это не только «воля к жизни», но и «воля к определенному ее смыслу, хотя бы и самому фантастическому». Для большевиков единственный смысл и ценность — власть как таковая. Португейс опять проводит параллель с революционной Францией: «Вспомним только, с какой заклятой силой отстаивали себя и свои “принципы” партии французской революции. Посылая друг друга на эшафот, они считали свои принципы, иногда самого отвлеченного свойства, чем-то таким, ничтожное, временное отступление от чего грозило мировой гибелью. Гильотина разрешала философские споры»³².

В отличие от идейной горячности французов, большевизм «холоден, расчетлив, весь погружен в бухгалтерию». Во имя сохранения власти большевизм готов поступиться любой идеологией: «Это оголенная форма узурпации, чистый ее вид, не подчиненный никаким идеям, идеалам, принципам, кроме одной всепожирающей цели — быть, жить... Здесь его особая статья. Здесь он был безусловно оригинален, смел, находчив, ловок, талантлив. Здесь была особая, тонко проводимая политика, изучение и анализ которой легче, по-моему, и скорее вводит в самую душу большевизма, чем томительные раскопки в груди наваленных большевиками мыслей, слов, теорий, мероприятий...»³³. И опять сравнение Ленина и Петра Великого: «Была б жива Россия, говорил Петр. А Ленин, которого многие возводят в Петра, знал один рефрен: была б жива РКП. ...Если бы завтра Ленин короновался в Успенском Соборе, он тоже скипетром бил бы по головам своих подданных: была б жива РКП...»³⁴.

Принципиальная заслуга Португейса-советолога — всесторонний анализ взаимоотношений органики истории и большевистского насилия над историей. Очередной сформулированный автором парадокс состоит в том, что все «антиисторические» планы большевиков, как они были теоретически задуманы, неизбежно терпели фиаско. Но именно потому, что эти планы регулярно проваливались, и именно в той мере, в какой они проваливались, большевики только и могли удерживать свое господство над Россией: «Только старательно облегчаясь от своей программы, только ценой неслыханного в истории революции бесстыдного оппортунизма, большевики могли удержаться у власти. Только терпя изо дня в день поражение, как принцип, большевизм мог до сих пор удержаться, как факт. Они объявили священный поход против истории, но история забралась внутрь их самих, дала им жизнь и отняла у нее *их* смысл»³⁵. В самом деле, последовательная сдача большевиками основных коммунистических принципов (главные из которых — отказ от государства как машины насилия, ликвидация имущественного неравенства, мировая революция и пр.) — это ведь и есть летопись русского большевизма.

Отталкиваясь от антибольшевистской тривиальности «Советская власть в тупике», Португейс настаивает на принципиальном уточнении: «Нет, советская власть сменяет один тупик на другой, и все ее многочисленные перемены курса не более как выход из одного тупика в другой. Какой из них будет последним, сейчас сказать нельзя, но что каждый новый тупик будет для нее гибельнее предыдущего — это совершенно очевидно»³⁶. Вот этому отслеживанию и анализу блужданий большевизма «из тупика в тупик» и посвящены основные работы Семена Португейса — теоретика, статистика, политолога.

«Средние слои»: от социальной опоры к стратегическому противостоянию

В противовес абстрактным рассуждениям о большевизме как «рецидиве русского варварства», «реванше азиатчины», «реставрации восточной деспотии» и т.п., столь обычным для большинства эмигрантов антибольшевистской ориентации (и, в общем, не лишним определенным смыслом), С.Португейс стремится определить *конкретные социальные силы*, произведшие эту, как он выражался, «стамбулизацию России». Его при этом интересуют не только вопросы «кто возглавил?» или «кто непосредственно осуществил переворот?» (ответы на эти вопросы достаточно очевидны и уже были даны им ранее), но и «в чьих фундаментальных интересах это произошло?».

Интересным результатом его анализа является вывод о решающей, глубинной роли, сыгранной в большевистском перевороте «средними слоями», «мелкой буржуазией», т.е. как раз теми социальными силами, которые ранее были вытеснены далеко на задворки русской жизни в процессе лобового противостояния реакционных верхов и революционных низов. Да и русская интеллигенция, замечает Португейс, никогда не ценила и в результате опасно недооценила эти «средние слои». Сильная антимещанская струя в русском элитарном сознании, с одной стороны, несомненно свидетельствовала о высоком уровне мироощущения, достигнутого тонким слоем русской интеллигенции, но, с другой стороны, этот же антимещанский настрой был «грозным признаком выпотрошенности русского социального тела»³⁷.

Объективное содержание большевистского переворота, согласно Португейсу, — это спровоцированный чрезвычайными обстоятельствами стихийный прорыв тенденций, которые подспудно назревали в России десятилетиями и мощным катализатором которых стала мировая война. В самом деле, деградация крупных цивилизованных форм экономической жизни, этот «регрессивный метаморфоз» русской экономики был замечен еще в начале войны: «Легионы мелких торговцев и спекулянтов, громадное разбухание починочной индустрии, резко увеличившаяся зависимость спроса от ремесленного и кустарного предложения — все это были симптомы не только экономического, но и социального подъема средней и мелкой буржуазии». Втянувшись в работу на оборону, русская крупная промышленность почти полностью оголила рынок внутреннего потребления. Любой россиянин на своем личном опыте мог почувствовать, что крупный капитал «перестал работать на удовлетворение потребностей жизни и стал работать на удовлетворение потребностей смерти — потребностей войны»³⁸.

Это исчезновение крупного капитала с рынка личного потребления имело далеко идущие психологические последствия — оно отложилось в массовом сознании некоей псевдосоциалистической «карикатурой»: «Не нужно нам никаких капитализмов!». Португейс не сомневался, что «антикапитализм», т.е. вульгарный социализм большевистской эпохи, был естественным следствием вот этого «регрессивного метаморфоза» предреволюционных лет³⁹. Своим контркультурным радикализмом большевизм лишь придал этому явлению — выходу на историческую арену средних слоев как новой общественной силы — особенно мощный размах.

Процесс «разрушения капитализма», таким образом, пошел на пользу вовсе не пролетариату (быстро исчезающему в результате полного паралича промышленности), а прежде всего все той же «мелкотравчатой буржуазии». В этом смысле русская революция (включая и Февраль, и Октябрь) объективно оказалась, по мнению Португейса, и не буржуазной, и не социалистической: «Не пролетариат и не буржуазия, а вот именно этот конгломерат средних элементов города и деревни, “мещан”, которых мы раньше не замечали или всячески презирали, — вот они-то и заявили о своем существовании и о своих исторических претензиях с наглядностью воистину убийственной»⁴⁰. «Убийственность» эта заключалась в том, что необходимым условием для выхода на историческую арену плебейско-мещанских слоев являлась социокультурная катастрофа нации, «обвал всех, достигнутых столетиями дореволюционного развития, уровней — экономических, культурных и духовных»: «Все должно было стремительно покатиться вниз для того, чтобы эти поздно родившиеся социальные элементы могли подняться вверх... Иначе им подняться невозможно было...»⁴¹.

Другими словами, «средние слои» сумели вырваться на авансцену русской истории только благодаря большевизму и именно в большевизме поначалу нашли питательный бульон для своего бурного роста, став активным субъектом всесторонней плебеизации жизни. Речь при этом шла не только о социально-экономическом, но и о культурно-психологическом «реванше»: «Надо было разбить духовную гегемонию русской интеллигенции, сбить с нее ее антимещанский пафос, унижить ее не только социально, но и душевно»⁴².

Итак, большевистская власть смогла утвердиться потому, что под демагогической завесой о «пролетарской диктатуре» вывела к исторической жизни массовые средние слои. Но она же неизбежно тут же вступила с ними в долговременный непримиримый конфликт именно как с новым «субъектом истории». Стремясь к собственному уп-

рочению, большевизм, не жалея сил, усердно создавал механизмы влияния и контроля за различными социальными группами, но эти самые группы использовали эти же механизмы для исторического воспроизводства самих себя и в этом смысле — против «антиисторического» большевистского диктата. Именно столь третируемое в России (в том числе и большевиками) «вечное мешанство», проникшее со временем во все поры советского режима, и оказалось в конечном итоге «могильщиком большевизма».

Большевизм и экономика: разрушение или перераспределение?

Равным образом и расхожий тезис о «большевистском разрушении экономики», перепеваемый на все лады — подчас весьма талантливо — многими и многими эмигрантскими голосами, С.Португейс считает односторонним, поверхностным, а значит, и не вполне точным. Впрочем, еще более далеким от жизни он считал большевистский тезис об «овладении народом командных высот в экономике». Феномен большевистского вмешательства в экономику он стремится расшифровать социологически, опираясь на точные данные статистики: «Когда мы говорим о разрушении большевиками в первый период их господства промышленности, то надо иметь в виду его социальный смысл. Ибо в этом разрушении весьма значительную роль играет перераспределение и расхищение ее оборудования, запасов сырья и отчасти денежных капиталов... Так, коммунистическое разрушение было в значительной мере формой и предпосылкой мелкобуржуазного накопления... Произошедшие при этом грандиозные усушка и утруска самой материи владения были всего только издержками революционного производства новых собственников»⁴³.

За процессом «разрушения через перераспределение» (это явление, согласно Португейсу, характерно для всех революционных эпох), в свою очередь, логически выстраиваются и еще более далеко идущие тенденции, объясняющие глубинную логику эволюции системы. Здесь, например, получает объяснение и такое явление, как тотальная криминализация советского общества: «Когда все имущества, все ценности были перераспределены под водительством советской власти, когда все было прибрано к рукам и грабить других стало более невозможно, тогда стали грабить ее самое. В атмосфере грандиозной социальной инерции, коммунистическая собственность, собственность самого государства стала не более священной, чем та

собственность, поход на которую организовала советская власть»⁴⁴. Рано или поздно, когда режим окончательно одряхлеет, коммунистическая (государственная) собственность наверняка сама станет объектом варварского расхищения. И это будет не чем иным, как прямым следствием порожденной большевизмом варварской перераспределительной психологии.

Что же касается официозной большевистской риторики о взятии пролетарским государством командных высот в национализированной экономике — то это тоже, по большому счету, миф. Ибо за счет контроля над государственной промышленностью кормится вовсе не народное государство, и уж тем более не пролетарский класс-гегемон, а вполне конкретные частные лица, принадлежащие отнюдь не к трудовым слоям: «Даже пресловутая “командная высота” национализированной промышленности — и та косвенно питала и питает средние классы населения, переводя в их частное накопление немало важную часть накопления государственного. Ибо внутри самого аппарата крупной национализированной промышленности образовались уже значительные кадры тороватых хозяйственников, которые при помощи буржуазных спецов научились водить за нос советскую казну, прятать прибыли в дебрях хитроумных отчетов...». И далее: «Вырастают элементы будущих собственников, “на всякий случай” воздерживающихся отдавать “им” “свои” деньги. Однако пока эти деньги “им” не отдаются, эти деньги греют множество людей, тучей вьющихся вокруг каждого предприятия, которое без них и не может жить, нуждаясь в сложной системе толкачей, посредников, “связей”, подставных лиц, акробатов чудовищной советской бюрократии, умеющих ходить по канату и прыгать с крыши»⁴⁵.

Удивительно точные оценки советской хозяйственной системы, сделанные С.Португейсом еще в конце 1920-х гг., практически на полвека предвосхитили работы отечественных экономистов, начавших на закате Советской власти исследовать наше «народное хозяйство» в русле концепции «бюрократического рынка».

О роли молодежи в русской революции

Еще на рубеже XIX—XX вв. некоторые отечественные авторы обратили внимание на феномен резкого омоложения русского радикализма как на социальный фактор, снизивший общий уровень культуры и во многом определивший обвальный характер социального переворота. Не ограничиваясь констатацией самого этого факта, а

также возникающих в связи с этим проблем, С.Португейс в целом ряде работ постарался проанализировать, почему и как процесс «педократизации» российской жизни был объективно обусловлен.

Прежде всего он отмечает, что «решительная схватка поколений» — это универсальное явление, характерное для всех эпох бурных общественных трансформаций: «Всякая революция и по причинам своим, и по последствиям своим является глубоким историческим разрывом поколений. С этой точки зрения революцию следует рассматривать не только как явление социально-политическое, но в значительной мере и как явление социально-биологическое...»⁴⁶. Другое дело, что в России это общее явление («восстание детей против отцов») приняло особенно острые формы. И этому тоже есть объяснение: «Здесь это восстание сказалось с буйственной силой, благодаря отсутствию прочных культурных традиций. Культурная корка, под которой тяжко дремали глыбы нашего варварства, нашего “скифства”, оказалась крайне тонкой и хрупкой глазурью, которая не смогла сопротивляться сокрушительной силе молодого поколения, вырвавшегося в революцию из-под власти уже давно умерших авторитетов. Именно культурного авторитета было крайне мало у русского культурного слоя, и это привело к тому, что для втянутой в революционный водоворот молодежи не было “ничего святого”, перед чем нужно было бы остановиться в своем разрушительном разбеге»⁴⁷.

Как и во многих других случаях, Португейс склонен отводить особую роль фактору мировой войны: «Если почти детей со школьной скамьи можно было гнать на фронт для защиты отечества, если в деле этой защиты страна доверяла почти детям командование людьми и исполнение порою весьма ответственных функций, то тем самым страна санкционировала решительно заявленные молодежью претензии на командование людьми и исполнение ответственных функций на тех полях битвы, где идут сражения за социально-политическое преобразование того же отечества»⁴⁸. В самом деле, если на «детей» возлагаются повышенные социальные обязанности, то естественно, что те же «дети» требуют себе и дополнительные социальные права. Фронтная гегемония молодежи не могла не повлечь за собой и ее тыловую гегемонию: «Там, в окопах, среди подвигов молодежи, пренебрегавшей любовью к жизни и страхом смерти, готовилось это господство молодежи в русской революции. Рукоплескавшие этим подвигам старшие поколения, благословлявшие эту молодежь, не предвидели, что им придется после эту молодежь проклинать»⁴⁹.

Разумеется, Португейса раздражают не поколенческие *претензии* (не так давно он и сам был молодым радикалом), а смена поколенческих *настроений*. Фронтальная молодежь — носительница не трудовой и созидательной, а военной и разрушительной психологии: «Они не знают и не любят социально-политического труда, они знают и любят только социально-политическую войну. Так рождается социальная психология, душевная подпочва большевизма...»⁵⁰. По мнению Португейса, новое поколение русских радикалов было уже совсем мало обременено русской культурой и большевизм умышленно «поставил ставку на “омоложение” русской революции, правильно сообразив, что чем менее кадры и аппаратура будут обременены годами, чем они будут зеленее, тем они будут краснее...»⁵¹.

Определение культурно-психологического типа «настоящего комсомольца» первых послереволюционных лет у Португейса саркастично-безжалостно: «Молодой лопух, который крушит и глушит вокруг себя все, что не ровня ему, по дурацки размашистой силе роста»⁵². Эта нелицеприятная характеристика является, однако, лишь отправной точкой для анализа Португейсом последующих сложных превращений, происходящих с советской молодежью в условиях укрепления, а затем и деградации коммунистического режима.

Чувство социального самосохранения и «биологической ревности» по отношению к отцам заставляет молодежь укреплять свой статус не только политической активностью, но и получением профессионального образования: «Шум сражения между отцами и детьми затих. ...Кровь стала остывать. Наступил период будней. Молодежь одержала победу. Надо было знать, что с ней делать. ...Создалось родовое чувство социально-политической опасности, опасности потонуть и задохнуться в болоте невежества и потерять столь обильно орошенную своей и чужой кровью власть. Стало ясно, что владычеству нового поколения грозит исполинский исторический крах, если оно не подведет под него фундамента всестороннего практического и теоретического знания. В итоге старая формула “знание — сила” получает новый образ: “знание — это власть”»⁵³. Естественная тяга к учебе, в свою очередь, повышает престиж комсомола как трамплина к завоеванию новых высот: «Борьба за место в школе, в армии, за “квалификацию” на производстве, за местишко, службишку, за хороший социальный паспорт — вся эта в СССР сложная и мучительная процедура мимикрии под патронируемые звания и состояния — все это нужно и можно лучше всего проделать через комсомол»⁵⁴.

Получив, таким образом, благодаря большевизму, сильный импульс для быстрого социального роста, молодежь обретает вкус к умножению все новых и новых возможностей. Но здесь она неизбежно наткнется на ограничительные барьеры, выстроенные советской системой: «В своем положении на фабрике, в учреждении, в школе молодежь чувствует себя непрочной, зависящей от общественных настроений, нисколько не связанных с существом выполняемой функции, а исключительно с видами и намерениями тех или иных административно-партийных мест, а иногда даже со своекорыстным капризом того или иного коммуниста»⁵⁵.

Ареной острой борьбы становится сама система образования: молодежь тянется к профессиональным научным знаниям, но большевистская система норовит подменить науку идеологизированной «политучебой»: «Наблюдая эту свистопляску коммунистической педагогики вокруг обществоведения, невольно приходишь к выводу, что коммунисты опасаются разлагающего влияния науки как таковой, без всяких партийных прилагательных, и вот в этом обществоведении, в этой сплюснута да рядом совершенно дурацкой политграмоте они находят не столько самостоятельную научную ценность, сколько противоядие против соблазнов всех остальных дисциплин»⁵⁶.

Однако Португейс верит, что рано или поздно должно произойти «оздоровление школьной атмосферы» и «школьный нэп» станет реальностью: «И сейчас уже основная боль, основной протест этой молодежи сводится к крику: дайте нам спокойно учиться. Оставьте нас в покое со всеми вашими коммунизмами, со всей вашей подложной общественностью, со всем вашим копанием в биографии наших двоюродных бабушек и троюродных тетушек, со всеми вашими варварскими чистками, со всеми вашими мобилизациями и кампаниями, со всей вашей неугомонной политической трескотней... Учебная работа преподавателей и учащихся должна будет освободиться от расклеиваемой атмосферы “соцобеза”, от всей этой социально-политической филантропии большевистских дам-патронесс женского и мужского пола. Несомненно, что здесь будет немало раздавленных и помятых, в сознании которых нечто тяжело оборвется и жестоко изранит все духовное существо человека. Но это не может остановить процесса оздоровления атмосферы, в которой живет современная учащаяся молодежь»⁵⁷.

Итак, институты режима, созданные как элементы политического контроля над молодежью (комсомол, система образования и т.д.), используются ею как инструменты борьбы за дальнейшую личностную самореализацию. Выданные ранее привилегии за лояльность

режиму порождают все новые и новые потребности, неудовлетворение или неполное удовлетворение которых понижает саму эту лояльность: «В этой борьбе за новые культурно-социальные позиции молодежь, идущая из народных глубин, широко пользуется привилегиями, установленными большевиками в целях получения армии верных и по гробжизни благодарных фаворитов... Но, используя широко систему привилегий, молодежь все-таки не превращается в армию верных и благодарных фаворитов. Наоборот, получив при помощи формальных привилегий реальные привилегии знания и квалификации, она очень быстро и порою даже цинично рвет с теми институтами диктатуры, благодаря которым эти формальные привилегии были правдой или неправдой добыты. За “вид на жительство” можно заплатить полагающиеся сборы и полагающиеся взятки, но платить коммунистическому участку вечной благодарностью и горячей любовью — на это среди современной молодежи охотников становится все меньше»⁵⁸.

В конечном итоге все большее число представителей молодого поколения приходит к выводу, что политико-идеократическая система, построенная на принципах раздачи льгот и привилегий, на самом деле «отнимает у молодежи прочную базу права, необходимую для спокойного продвижения к высшим ступеням культурной и технической квалификации...». И исследователь делает вывод о неизбежности смены молодежных приоритетов с распределительных — на правовые: «Самое маленькое право становится соблазнительнее самой большой льготы»⁵⁹.

Разумеется, С.Португейс далек от чрезмерных иллюзий в отношении находящейся в коммуно-комсомольских тисках советской молодежи и не склонен «спрямлять» траекторию ее грядущей эмансипации. Будучи достаточно информирован, он хорошо знает, что наряду с зачатками демократического и правового сознания среди молодежи более распространено скорее чисто инстинктивное отторжение большевистского прессинга, которое не способно принять высококультурные и даже просто сколько-нибудь осмысленные формы. Порой этот «разрыв с советско-коммунистическим благочестием» принимает банальные формы «антисоциального хулиганства». Но и здесь Португейс менее всего склонен к морализаторству: он называет эти вспышки нигилизма «процессом первоначального накопления частью молодежи опыта индивидуального выживания в условиях большевизма» — со всеми характерными для этого периода социальными уродствами⁶⁰.

О «Коммунистической партии» и «советском обществе»

Принципиальная идея С.Португейса: повседневная жизнь, развиваясь вопреки большевизму, постепенно регенерирует объективную логику развития человеческих отношений, логику развития культуры и истории. При этом сами ключевые институты большевистского режима — партия, профсоюзы, комсомол, армия, задуманные авторами как надежные инструменты своего господства, объективно становятся ареной острейшей внутренней борьбы. В них (а учитывая их значение — прежде всего в них) и проявляется главное противоречие системы — возрождение культуры повседневности наперекор пароксизмам революционной чрезвычайщины.

Исследование внутренних метаморфоз, претерпеваемых главным институтом большевизма, Партией, — излюбленная тема Португейса-советолога. Разумеется, сам термин «партия» в применении к феномену РКП-ВКБ подвергается им критическому анализу: «Партия — это всегда только часть политических сил данной страны, большая или меньшая, но все-таки только часть... Там же, где все партии уничтожены, где действует только одна группа людей, выжигая огнем и вырубая мечом всех, не только инакодействующих, но и инакомыслящих, притом не только вне своего круга, но и внутри его самого, — там эта господствующая часть превращается в целое. А превратившись в целое, перестав быть частью, она перестает быть партией»⁶¹.

Но дело даже не в ложном самоназвании, а в том, что, установив монополию на власть, «Партия» не устраняет общественно-политические противоречия, а лишь загоняет их внутрь самой себя: «Партии удалось предупреждать и пресекать появление второй партии в стране, но она потерпела жестокое поражение у себя дома, ибо дом этот превратился в арену грандиозной междоусобицы... В кривом зеркале коммунистической монополии насакивают друг на друга чудовищно карикатурные отображения социальных реальностей, не имеющих пока иной возможности выявиться, как в этом чудовищно искажающем зеркале»⁶².

История, по мнению Португейса, «сыграла с РКП злую шутку». Действительно, монополярная Партия поставила себе целью уничтожение всех видов деятельности, которые так или иначе противоречат ее целям. Но в этих обстоятельствах если не все, то многие из тех сил, которые преследуются и отовсюду изгоняются, нашли свое место спасения... в самой Партии: «Если хозяйствовать можно только или состоя в РКП, или “примыкая к ней”..., то, стало быть, весь многообразный мир инте-

ресов, страстей, столкновений, связанных с хозяйственной деятельностью, с классовой борьбой, с борьбой в пределах каждого класса — все это должно найти то или иное отражение внутри этой огромной губки — РКП. Если никуда нельзя пойти и ничего сделать нельзя, не побывав внутри или около РКП, то, естественно, здесь образуется водоворот, дикая свалка тех интересов, которые в нормальной обстановке находят себе свои собственные многочисленные русла, свои собственные организационные формы... Борьба населения с монополией легальности РКП была перенесена в пределы самой РКП»⁶³.

Партия становится своеобразным «Ноевым ковчегом», где самые разные группы населения, часто с резко отличными интересами, спасаются от потока бесправия, бушующего по всей стране: «Это легальная часть страны, объединенная только этим — титулом легальности... “Посторонние” все равно сидят внутри самой партии и не только смотрят и слушают, но и голосуют. Ибо они члены партии. Они раздобыли себе титул легальности, они накрылись партийной шапкой-невидимкой, они даже состоят иногда в списках партийного “актива”, но по своей роли в политическом развитии страны они представляют собою самую опасную для политической диктатуры силу...»⁶⁴.

По образному выражению Португейса, «борьба за партийный билет — это борьба за власть, и каждая социальная группа вносит в эту борьбу за власть *свое* социальное содержание»⁶⁵. Так анализ социальных настроений в советской деревне конца 1920-х гг. приводит Португейса к выводу о том, что «партийные влечения» среди крестьянства определяются целями *не вполне большевистскими* («занять какую-нибудь должность», «укрепить свое хозяйство», «получить командировку в учебное заведение», «приобрести в личных интересах власть над односельчанами»), а иногда и *вовне антибольшевистскими* («замаскировать свое хозяйственное обрастание», «прибедничаться перед налоговыми органами», «просто укрыться от судебного преследования» и т.д.). Коммунизм в деревне, таким образом, — «это не исповедание и убеждение, а профессия или состояние»⁶⁶. При таком положении дел затеянная партией массовая чистка все более чуждых ей деревенских партиячек неизбежно превращается в очень острую и напряженную классовую борьбу с теми элементами сельского населения, которые при помощи партийного билета стремятся подняться вверх и тем самым вступают в борьбу с режимом, настойчиво толкающим их вниз: «Как это ни звучит парадоксально, но это факт советской действительности: проникновение крестьян в коммунистическую партию тоже является одной из форм деревенской борьбы с коммунистической политикой»⁶⁷.

Крайне интересен и анализ С.Португейсом существа «сталинского термидора» — политики «раскулачивания» и огосударствления аграрной сферы на рубеже 1920–1930-х гг. По мнению Португейса, изначальная легитимность большевистской революции в общественных низах во многом состояла в раскрытии для широких масс возможностей быстрого социального восхождения под знаком «кто был ничем, тот станет всем». То, чем диктатура живет, писал Португейс в начале 1929 г., это «сознание масс, что революция еще не кончилась», «что для тех, кто был “ничем”, есть еще большие возможности стать “всем”». Внезапное осознание массой, что «местов больше нет», станет, по мнению Португейса, крайне опасной точкой в эволюции системы⁶⁸.

Согласно Португейсу, на рубеже 1920–1930-х гг. в стране сложилась как раз такая «психологически опасная» для режима ситуация: массовые ощущения, что «революция выдохлась», подогревались риторикой влиятельного «правого» крыла в партии о возможности «мирного вращивания в социализм». Сталинская группировка встала перед необходимостью наглядно продемонстрировать, что «революция продолжается» и еще способна давать простор массовому социальному восхождению. Поэтому целью сталинского «огосударствления деревни», по мнению Португейса, было не только форсированное изъятие крестьянского хлеба в пользу города, но и целенаправленное расширение командно-бюрократического сословия как главной опоры режима: «В истории колхозного землетрясения и головокружения никогда не следует упускать из виду этот момент внезапного и грандиозного расширения области социально-политического командования, осуществленного при помощи повальной бюрократизации всего русского сельского хозяйства»⁶⁹. Разумеется, определенную роль в массовом «раскрестьянивании» сыграли и марксистские догмы о благодатности тотального обобществления производства, но «шилом в мешке сквозь этот эксперимент проглядывала необходимость утолить жажду власти и командования у миллионов людей, не столько сплотившихся, сколько столпившихся внутри и вокруг ВКП и комсомола, обольщенных посулами и перспективами социального возвышения...»⁷⁰.

Однако Партия, казалось бы успешно решившая задачу по расширению своей «социальной емкости» (важный термин у Португейса), очень быстро столкнулась с новыми проблемами: «После этого исполинского резервуара командования, который образовался в околхозном сельском хозяйстве, трудно себе представить, что еще такое могла бы выдумать диктатура для того, чтобы “пристроить” дру-

гие миллионы людей, ищущих той же возможности уйти от “простой” производительной работы в область начальственного размаха, в который главным образом и воплощается общественный пафос текущего момента русской истории»⁷¹.

Уже в начале 1930-х гг. С.Португейс приходит к заключению: «Партия теряет свою “социальную емкость” для тех элементов населения, которые через нее хотят приобщиться к частичке общественно-политического и хозяйственного командования»⁷². Автор фиксирует широкое распространение такой формы партийного противодействия стихийному напору масс, как создание «бесконечных видов суррогатов общественной привилегированности»: «Миллионы так называемого “беспартийного актива”, затем миллионы ударников и всегда десятки различных непартийных, околопартийных организаций т.н. “беспартийной советской общественности”. Все это призвано было утешить малых сих хоть какой-нибудь мерой отличия от прочих людей подлого сословия»⁷³.

В 1932 г., комментируя юбилейные торжества в СССР, посвященные 15-летию революции, Португейс констатирует, что для сохранения мотивации для все новых и новых кандидатов на приобщение к власти Партия встает перед необходимостью периодически «прореживать» свои ряды: «Грозным симптомом для будущей диктатуры ВКП является тот факт, что всего через несколько дней после пышной юбилейной иллюминации советской власти пришлось приступить к радикальному сокращению своих бюрократических кадров, к громадному бюрократическому кровопусканию, наглядно и в весьма драматической для десятков тысяч людей форме подчеркнувших это падение социальной емкости ВКП, это быстро приближающееся исчерпание ее кормящей, греющей и “пристраивающей” благодати»⁷⁴. Португейс делает принципиальный вывод о «безысходности» и «конечной неразрешимости» этого противоречия: «В тот момент, когда ВКП не сумеет больше устраивать на командных позициях новые и новые сотни тысяч людей, — в этот момент в корне расшатается одна из могущественных опор ее диктатуры»⁷⁵.

О рабочем классе и особенностях «советских профсоюзов»

Аналогичным образом исследует С.Португейс и метаморфозы, происходящие с советским рабочим классом. По аналогии с известным марксистским тезисом об «абсолютном обнищании пролетари-

ата при капитализме» он выдвигает другой — об «относительном обогащении пролетариата при социализме». Смысл обоих тезисов в том, что, не отражая реального положения дел, они тем не менее определенным образом формируют классовое сознание пролетариата. Действительно, объективное положение рабочего класса при капитализме, как выясняется, не только «абсолютно не ухудшается», но, напротив, иногда очень серьезно улучшается. Но это, по мнению Португейса, нисколько не способно притупить старое, субъективное «чувство протеста». Ибо в эпоху становящегося капитализма действует психологический эффект — фрустрация из-за бросающейся в глаза разницы между низким уровнем жизни пролетариата и уровнем жизни буржуазии. Именно в этом «психологическом ощущении» и заложен источник «классовой борьбы и революционной непримиримости пролетариата»⁷⁶.

Марксистствующий большевизм, по мнению Португейса, создал зеркально противоположную теорию «относительного обогащения рабочего класса» при социализме: «Да, рабочему живется в Совдепии хуже, неизмеримо хуже, чем при капитализме. Но что же? Ему зато гораздо легче и вольготнее жить, чем буржую. ... Вот это буржуй валяется на улице и, голодный, оборванный, смотрит на вас страдальческим взором и беззвучно что-то шепчет. Вот это пролетарий при винтовке приказывает буржую убратся и не портить вида улицы. Это ли не господствующее сословие? ... И как в капиталистическом обществе, несмотря на реальное улучшение положения рабочего класса, различие жизненных уровней питает протест и социальную активность, так при коммунистическом строе, несмотря на реальное ухудшение положения рабочего класса, обратно расположенное различие жизненных уровней должно питать чувства примирения и социальной пассивности». Это субъективное ощущение превосходства русского пролетария над «своим буржум» и определяет его социальное самодовольство и пассивность в отличие от протестного активизма рабочего класса на Западе: «Вы вместо одного итога: революция, классовая борьба, бунт, неумное, вечно саднящее чувство протеста — получите: примирение, покорность, рабство, социально-политическую глухонемоту и часто даже положительно проявляемое удовлетворение бедных, скудных, обманутых и жаждущих обмана душ»⁷⁷.

Общественную дезориентацию и умиротворенность советского пролетариата закрепляет и изошренная политика «заигрывания» с ним со стороны большевистской власти. В описании этого процесса перо Португейса достигает аналитической сверхточности и — одновременно — метафорического блеска: «Мелкая повседневная лесть,

повседневная демагогическая шекотка, деланное, иезуитско-смирное преклонение владык перед их рабами, омерзительные поглаживания по пролетарскому плечу — вся эта тошнотворная смесь социального озорства, лисьей элегичности и волчьей хватки совершенно оглушает сладким дурманом скорбные умы и души людей, жаждущих утешительных обманов, возвышающих иллюзий в темноте, холоде своей бедной, безобразной, обобранной и исковерканной жизни...»⁷⁸.

Еще в свои молодые годы демократический публицист Семен Португейс во многом сделал себе журналистское имя на очерках, посвященных профсоюзному движению в России. Эта тема осталась для него одной из излюбленных и в эмиграции. Пользуясь близкими связями с руководством Международного бюро труда, он имел свободный доступ к уникальному корпусу материалов, переправляемых (в том числе и нелегально) из Советской России, включая статистические данные, многочисленные периодические издания, в том числе ведомственные и региональные.

Примеры виртуозной работы Португейса с советскими источниками впечатляющи и поучительны. Так из официальной советской статистики («всё в советской России начинается со статистики и очень многое в советской России только статистикой и заканчивается») он вычитывает, например, информацию о том, что к концу 1925 г. число членов советских профсоюзов достигло 7 млн 700 тысяч человек. Эта, казалось бы, вполне безликая цифра становится отправной точкой для блестящего социологического очерка «Диктатура профсоюзная» (1926)⁷⁹. (Этот достаточно обширный текст, несомненно, украсил один из томов «Современных записок», несмотря на то, что рядом были напечатаны произведения Мережковского, Шмелева, Осоргина, Ремезова, Гиппиус, Ходасевича и других литературных звезд эмиграции.)

Итак, «семь с половиной миллионов советских профсоюзников»... «Это ужасно, — отмечает в самом начале очерка Португейс. — И ужас здесь заключается не в том, что перед нами фальшивая статистика, а в том, что перед нами фальшивая профессиональная организация»⁸⁰. Советские профсоюзы, по мнению Португейса, — это нечто глубоко отличное от того, что существует в Европе, или даже от того, что имело место в добольшевицкой России. И далее он умело вскрывает причины и характер этой «уродливости» советского профдвижения, когда огромные социальные пласты, ничего общего не имеющие ни с наемным трудом, ни с рабочим движением, стремятся тем не менее быть охваченными профсоюзной регистрацией: «В советских условиях профсоюз — это первая ступень, ведущая в область

права, советского права. В СССР нет права личности, а есть только отчуждаемое свыше право члена какого-нибудь партией благословенного коллектива. Начать быть гражданином, даже в убогом советском смысле этого слова, можно только, переступив порог профсоюза»⁸¹.

Поэтому в СССР запись в профсоюзной книжке — это, по сути, акт о рождении советского гражданина. «Нужно ли после этого удивляться, — вопрошает Португейс, — что у порога профсоюза толпятся люди всех званий, состояний и сословий, что профсоюзное пылание еще не “запрофсоюзившихся” душ достигает апогея, что все стремятся стать пролетариями, которыми, надо отдать справедливость советскому режиму, стать несравненно легче, чем во времена царизма какому-нибудь еврейскому журналисту стать «переплетным подмастерьем»⁸².

Само понятие «право жительство», для получения которого, как вспоминает Португейс, в дореволюционной России нужно было всего лишь зарегистрироваться в управе, в Советской России приняло принципиально иное, буквальное смысловое содержание: «Теперь надо регистрироваться в профсоюзе также для получения права жительства, но уже в гораздо более широком смысле этого проклятого и позорного термина. Да, это “право жительство”... Если вы хотите “жилплощадь”, если вы не хотите платить за нее повышенную ставку, если вам нужно избавиться от сверхсметного обложения, если вам нужно получить работу, если вам нужно учиться самому или учить ваших детей, если вообще вы не хотите быть “элементом”, а по возможности человеком, если, наконец, вам важно, “собака дворника чтоб ласкова была”, то не теряя времени запишитесь в профсоюз»⁸³.

Итак, «профсоюзные права» — это «только потому права, что вне союза, без союза — совсем никаких прав нет». В этом смысле члены западноевропейских профессиональных союзов — «совершенно несчастные люди»: «Профессиональный союз не дает им никаких прав. Все свои права они получают не потому, что они “члены”, а потому, что они... люди»⁸⁴.

В своих работах Португейс часто иронизирует над излюбленными большевистскими словечками типа «элемент», «элементы», часто уподобляя советскую структуру «периодической системе», в которой каждый «элемент» в целях выживания пытается отыскать свое место. В этом смысле и «советские профсоюзы» являются важной составляющей системы социальной ориентации индивидов: «Понятно, что чем неблагоприятнее с точки зрения коммунистического ханжества социальное положение данного “элемента”, тем профсоюзный порыв его горячий. Рабочий на худой конец все же может доказать, что он рабочий, а не “элемент”, но когда буржуазному зайцу надо доказать,

что он не верблюд, то как иначе может он это сделать без наличия надлежаще выданной бумаги? При этом ведь весьма возможно, что он и в самом деле верблюд. Тут уж без документа о том, что он заяц, прожить невозможно»⁸⁵.

В «Диктатуре профсоюзной» Португейс приводит много разнообразных примеров того, как советские профсоюзы выполняют свое важнейшее предназначение — служить средством давления администрации на рабочих. Но есть и еще одна сторона дела: принадлежность к профсоюзу позволяет формально «на добровольных началах» выкачивать средства в пользу плодящихся бюрократических структур. Для демонстрации этого тезиса автор использует найденный в одном из номеров «Правды» за 1925 г. фельетон о том, как некий «рабочий Головоскребок» приходит после получки домой и отдает жене двухнедельный заработок... 7 рублей. Жена вспыхивает: «В книжке прописано 18 рублёв!» На что рабочий отвечает довольно пространно: «В союз надо? Надо. В кассу взаимопомощи надо? Надо. В Добродухимию надо? Надо. В Мопр надо? Надо. В Воздух — воздушное сообщение — надо? Надо. На шефство по селу и по деревне надо? Надо. На Друзей — на голых детей, значит, надо? Надо. На...» «Тьфу, — в итоге плюет жена, — а на штаны не надо?..»⁸⁶.

Разумеется, фельетон в «Правде» помогает лишь более рельефно обозначить проблему, о которой можно узнать и из более серьезных текстов. Португейс цитирует официально опубликованную в «Гудке» речь на съезде железнодорожников Андреева — «видного профсоюзного туза»: «Я вас спрашиваю по совести: вполне ли мы охраняем заработную плату или грабим рабочего по-прежнему? Вот тут качают головой, а я считаю, что мы или грабим, или содействуем грабежу...». Португейс попутно замечает, что данный номер газеты был властями конфискован, а в следующем номере «Гудка» речь Андреева была существенно переименована. «Счастливым случаем доставил оба №№ за границу», — с исследовательским удовлетворением сообщает Португейс⁸⁷.

Там, где иные авторы скорее всего ограничились бы простой констатацией «классовой эксплуатации советских рабочих», аналитик Португейс пытается выявить и продемонстрировать глубинные общественные «механизмы». Исследуя сущность советской профсоюзной системы, он приходит к важному выводу: «Здесь действует один из изумительных механизмов советского режима, действует безукоризненно, артистически. Механизм этот — *выдвиженство*»⁸⁸.

В анализе феномена «советского выдвиженства» автор использует многообразные материалы: от докладов профсоюзных руководителей (начиная с «первого босса» — Томского) до «писем трудящих-

ся», из которых также можно почерпнуть, оказывается, немало полезной информации. Португейс цитирует, например, письмо-жалобу в газету «Труд» одного из простых рабочих, сильно обидевшегося на коллегу-выдвиженца: «Был рабочий, стоял у станка, видел рабочую нужду и жизнь. Потом пошел в завком, там еще больше приобрел опыта и потом этот опыт и знания направляет против рабочего же...». В конце письма автор требует, чтобы значительная часть заводовцев вернулась назад к станку, в среду рабочих. «Но это чистой воды утопия! — отмечает Португейс. — Не возвращается пес на блевотину свою. Оставленный позади станок... рисуется отскочившему от него фабзавкомцу как ужас и позор... Станок — это наказание». Дело в том, что «фабкомец, освобожденный от работы на станке для работы в профсоюзной канцелярии, повышается не только в чине, но сразу и весьма существенно в содержании (Португейс приводит конкретные цифры: в три-четыре раза! — А.К.). Вот и попробуйте такого человека опять погнать к станку. Ведь это же разорение?! — не правда ли? Вот этот рабочий и стремится выдвинуться, проявить свои хозяйственно-административные таланты, чтобы на случай, если ему уж не удастся остаться профсоюзным бюрократом, заделаться бюрократом хозяйственным. Он свирепствует в фабзавкоме, он лакействует перед администрацией, он забегает вперед в деле нажима на рабочих, и труды его не остаются вознагражденными...». «Профсоюз — это школа верховой езды на спине русского рабочего. И какие же отсюда выходят талантливые ученики!» — делает вывод автор⁸⁹.

Столь же блестяще вскрывает Португейс глубинную связь между характером «советских профсоюзов» и целями и задачами монополично правящей партии: «Без РКП, ныне ВКП, все вышеизложенное не имеет надлежащего увенчания. Ибо, в конце концов, все, что занимало нас в этом очерке, есть не более как социально-политическая и духовная эманация ВКП». Здесь, отмечает автор, профсоюзы выступают «в новой и интересной роли»: «Это плевательница, куда должны собираться плевки рабочей массы, предназначенные по существу для коммунистической партии. И если... профсоюзы должны быть буферами между фабрично-заводской администрацией и рабочими, то коммунистическая партия тоже нуждается в буфере между собой и рабочими и тоже взваливает эту почетную роль на профсоюзы. Где это видано, чтобы любители курятинки сами резали подлежащую съедению курицу? Для этого существует кухонный мужик»⁹⁰.

Один из фирменных приемов Португейса-советолога — мгновенный переход от жесткой объективной аналитики к беспощадному сарказму. Выявляя глубинную драму «профсоюзной диктатуры» в СССР,

калечащую судьбы миллионов людей, он не отказывает себе в удовольствии делать сатирические зарисовки повседневности советского «профсоюзного иллюзиона»: «Тут мы вступаем в область гомерических анекдотов, тут нужно перо Гоголя или Щедрина, чтобы достойно изобразить всю мерзость бюрократического запустения со ста тысячами циркуляров, сверхурочно в дикой спешке переправляемыми десятками машинисток, с головокружительной отчетностью чернильных душ, обязанных сначала зарегистрировать “наши достижения”, а затем “наши недостатки”, для чего из центра доставляются шпаргалки, в которых есть рубрики для “достижений” и рубрики для “недостатков”... Тут трагедия русского рабочего движения превращается в пошлый и веселый фарс»⁹¹.

Однако основанное на иллюзиях терпение российского пролетариата, по мнению Португейса, не беспредельно. По существу, он первым из исследователей большевизма обратил внимание на одно из важных противоречий советского строя: с одной стороны, пролетариат официально объявлен в России «господствующим классом», но, с другой стороны, для наиболее инициативных элементов этого класса характерно желание во что бы то ни стало уйти из своего класса в те социальные группы, которые советской властью причисляются ко «второму сорту». И это не только способ сделать карьеру, но и средство хотя бы относительной эмансипации от системы⁹². Пролетарский практицизм и рациональный расчет все более вытесняют у рабочих склонность к примитивной классовой демагогии: «Рабочий молодец видит, что на “интернационалах” прожить невозможно. Оставаясь в пределах рабочего же класса, этот молодец стихийно тянется на высшие технические ступени своей профессии, чтобы в итоге совершенно эмансипироваться от тех средств, при помощи которых эта высшая ступень будет достигнута. Пора революционного романтизма быстро проходит»⁹³. Рано или поздно и это реальное противоречие обязательно приведет, по мнению исследователя, не только к окончательному выветриванию и опустошению большевистской «пролетарской» мифологии, но и к основательному социально-политическому перерождению режима.

О постепенном «старении режима» и попытках его «самоомоложения»

Итак, главное противоречие большевистского строя — это неизбежное столкновение регенерирующейся культуры с доктринально узкими коммунистическими рамками. При самом зарождении режи-

ма, в годы революции и гражданской войны (когда, как отмечал Португейс, «страна горела в пламени гражданской войны и элементарный страх смерти от голода, от пули, от паразита подавлял в человеке все человеческое»), этот «большевистский колпак» был не столь чувствителен и не так раздражал. Но те времена миновали, и запросы личности бесконечно, в самых разнообразных направлениях выросли, и теперь «партийно-советский колпак стал невыносим, и на этой почве растет глубокий разрыв между населением и властью»⁹⁴.

Со своей стороны большевистский режим, интуитивно чувствуя, где сокрыта его «кошечья игла», всеми силами противодействует восстановлению человеческой «органики»: «Надо во что бы то ни стало длить революцию. Иначе — смерть»⁹⁵. Один из наиболее эффективных способов искусственного продления «революционной молодости» большевистской власти — это постоянное поддержание в массовом сознании «образа врага». «Для того чтобы интенсивно ощущать такую власть, должен быть объект насилия, — пишет Португейс. — Должен быть тот “турка”, на голове которого на народных гуляньях можно за пять копеек выявить свою “силу”. Такой “турка” был. Это буржуазия, белогвардейцы, вообще враги пролетариата. На коммунистическом гулянье за пробу силы над этим туркой ничего не взымали и даже кое-что приплачивали. ... Самодержавие Романовых себя спасало, отдавши толпе как бы в аренду насилие над евреями. Самодержавие коммунистов себя спасало, отдавши почти в полное распоряжение трудящихся насилие над другим “турком” — буржуазией. ... Для большевистской демагогии нужен был, до зарезу нужен был буржуй, и притом недодушенный, энергично душимый, но недодушенный»⁹⁶.

Отсюда — перманентные кампании по выявлению и публичному осуждению подлинных и мнимых «врагов народа». Анализируя, например, многообразные причины затеянного большевиками «процесса меньшевиков» (автор знает, что «вокруг этого процесса происходит хороводное кружение самых разнообразных интересов»), Португейс называет, на его взгляд, главную причину: «Вот это именно *“оживление на всех фронтах”*... Всегда и непрерывно надо, чтобы что-то где-то происходило, чтобы было страшно, чтобы были коварные враги, чтобы их ловили, судили, избличали... Чтобы каждый день чуть-чуть не падала советская власть, но чтобы каждый день она чудесным образом спасалась, по каковому случаю раздавались бы пальба и крики, а там в стороне подбирался бы новый враг, фабрикуемый шпионами и провокаторами, специально на то и приставленным, чтобы было оживление, чтобы похоже было все на “революцию”, которая все еще про-

должается, продолжается, продолжается... И кажется, что для того и затеяли весь этот процесс, чтоб было на что в ответ морочить голову всей стране и дальше ее закабалить во славу диктатуры»⁹⁷.

Другое радикальное средство самоомоложения режима — политические «чистки». Их образное описание также принадлежит к числу нередких публицистических шедевров Португейса, соединяющих в себе фельетонную остроту, литературную изысканность с глубиной политического анализа: «Партия чистится — это означает, что сотни тысяч людей будут в покаянном трансе сами на себя клепать и возводить небывлицы, чтобы лошадиными дозами искренности и искусственно растравленными гнойными язвами своими симулировать подкупающие строгих судей бездны раскаяния своего. Партия чистится — это значит, что армии коммунистических подхалимов, шкурников, проплеванных душ и восторженно-искренних мерзавцев явят собою образ наиболее ревнивых охранителей партийной чистоты и радетелей партийного благочестия»⁹⁸.

Но за всеми этими «чистками» и публичными судилищами над «врагами народа» Португейс видит не только демагогические спектакли, поставленные и разыгранные властями, но и моменты выплеска целого «хоровода» разнообразных и крайне противоречивых общественных интересов. Португейса-исследователя отличает здесь повышенное внимание к, казалось бы, незначительным фактам и частностям, которые у него получают богатую интерпретацию и выводят на серьезные теоретические обобщения. Так, изучая разнообразные публикации в советской прессе о т.н. «процессе меньшевиков», он делает проницательные выводы о характере эволюции режима. Вот он приводит одно из потока однородных и на первый взгляд банальных сообщений о низовой реакции на судебный процесс: «*Возмущенный гнусным вредительством меньшевиков, слесарь инструментального цеха тов. Соколов вступил в комсомол...*». Португейс делает вывод: «Многие на радостях хотя бы повыситься в чинах...». Или цитирует обычное «письмо трудящихся»: «*В ответ интервентам мы, ударники шахты Щегловка, подписываемся на новый государственный заем в размере месячного заработка...*». И замечает: «Диктатура тоже хочет полакомиться...». А вот характерный «рапорт рабочих родной коммунистической партии»: «*В ответ на вредительство социал-прохвостов, бригада обязалась перевыполнить мартовский план...*». Вывод Португейса: «На предприятиях завинчивают рабочих...» и т.д.⁹⁹.

Между тем, по мере неуклонного «старения» режима, активные формы его «самоомоложения» (террор, чистки, процессы над «врагами народа») сменяются формами все более «вегетарианскими», ха-

рактёрными, по ироничному выражению Португейса, скорее для суетливой «кутерьмы», нежели для возвышенной «революции». На излете режима «деланье революции» на самом деле означает, что власть «бесконечно длит и длит кутерьму, выдумывает для нее все новые и новые формы и с надуленным лбом, со страшно серьезным “революционным” выражением в лице титанически и планетарно переливает из пустого в порожнее»¹⁰⁰. Режим уже не в силах «запретить историю», но он еще способен «по мелочам» ставить палки в колеса процессу регенерации культуры. «Советская власть и компартия, — пишет Португейс, — органически не способны спокойно видеть человека, занимающегося своим делом, потому что всякое погружение человека в свое дело неизбежно включает его в органическую систему возрождающейся жизни, в корне враждебной искусственной системе дурацкого партийно-советского колпака, по уши натянутого на рвущуюся к хозяйственной и духовной свободе страну...»¹⁰¹.

Совокупность мер противодействия дряхлеющего режима процессам возрождающейся исторической «органики» С.Португейс характеризует обобщенным и очень точным понятием «дёрганье»: «“Дёрганье” — это универсальная форма отношения власти и партии ко всем, по их соизволению держащимся на поверхности людям. “Дерганье” на фабрике, “дерганье” на службе, “дерганье” в школе — это есть преимущественная форма отношения покровителей к покровительствуемым. “Общественность”, “политическая активность”, “классовая сознательность”, “политграмотность” — всем этим до тошноты донимают людей, хоть раз клонувших малое зернышко из советско-партийного лукошка»¹⁰².

Однако даже процесс примитивного «дёрганья» по отношению к обществу тоже требует от деятелей режима некоторой доли заинтересованности, планомерности и энтузиазма. Между тем необратимые процессы старческого перерождения захватывают уже саму коммунистическую верхушку. Энтузиастов революции постепенно замещают чиновники, и эти «новые люди» все чаще приходят не из низов, все еще заинтересованных в социальном восхождении, а представляющих собой лишь новое поколение «совслужащих», цинично стремящихся к консервации своего статуса: «К власти пришло множество новых людей. Но это не столько иконописные рабочие и крестьяне, сколько эта средне-мещанская и средне-буржуазная масса “прочих”, “служащих” и т.п. третий сорт коммунистического преискуранта. Эти элементы действительно находятся во владении “завоеваниями революции”. И для того, чтобы их застраховать, они хотят, чтобы эта революция не продолжалась, а вот именно — кончилась. Но для диктатуры это смерть»¹⁰³.

«Окончание революции» станет делом рук самой коммунистической элиты, и коллапс советской системы начнется изнутри ее главного института – монопольной партии: это Семен Португейс аналитически точно предсказал еще на рубеже 1920–1930-х гг.

О настроениях в эмиграции и некоторых контурах будущей России

В отличие от большинства эмигрантов первой послереволюционной волны С.Португейс был убежден, что «большевизм могут преодолеть не те, которые с ним и к нему не пошли, а только те, которые из него или от него ушли»¹⁰⁴. Этот тезис, разумеется, очень резко противопоставил Португейса большинству влиятельных эмигрантских сил, сообща мечтающих о «реставрации», хотя и вкладывающих в это понятие очень разный смысл.

С нескрываемой иронией и даже некоторой жалостью относился Португейс к тем эмигрантским деятелям, которые, ностальгируя по собственной бывлой значимости, все еще лелеяли мысль о своей «особой роли» в неких грядущих событиях. Эти люди напоминали ему некоторых персонажей русской классики, прежде всего – незабвенных «господ ташкентцев» из одноименного произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина: «В чем, видимо, они совершенно не сомневаются – это реставрация самих себя как господствующей на Руси силы... И скачет реакционный всадник верхом на палочке в твердом убеждении, что он самонужнейший для России человек, – он на палочке в Россию въедет и Россия скажет ему: “Добро пожаловать!”»¹⁰⁵.

Собственную задачу Португейс видел в работе на длительную перспективу, в трезвом анализе процессов, изнутри подтачивающих большевистскую диктатуру. Особую роль в постепенном «выветривании большевистского иллюзиона» он отводил, как уже отмечалось, возрождению нормальной человеческой повседневности, которую многие эмигрантские авторы по привычке брезгливо называли «мещанским бытом». В одной из своих принципиальных статей «Пути русской свободы» (1936) Португейс припомнил лекцию одного эмигранта-евразийца, который горько жаловался на то, что русский народ постепенно «впадает в мещанство», и все более начинает тешиться «бирюльками пошлой цивилизации» (вроде метро, патефона и маникюра), и «вместо того, чтобы переворачивать мир, переворачивает всего-навсего пластинки на патефоне...»¹⁰⁶. В этой связи Португейс приводит меткое сравнение: как в добрых старых русских семьях ра-

чительные хозяйки следили за тем, чтобы огонь в самоваре никогда не угасал, так и эмигрантские ниспровергатели советской власти тоже чрезвычайно встревожены возможностью того, что «самовар русской революции угаснет». Их логика понятна: «Пойди потом, ставь самовар заново! Покуда еще тлеют кое-какие угольки революции (“нашей революции”), есть надежда, что удастся их раздуть и вновь со свистом начнут вырываться пары». По мнению Португейса, для рассуждающих подобным образом особенно невыносима мысль, что «“нашу” революцию мы проиграли и революция против большевистской диктатуры будет совсем уже не “нашей”, а “ихней”, т.е. другого поколения с непонятной и чуждой нам психикой, с повадками и манерами, резко диссонирующими с музыкой нашей гуманистической души»¹⁰⁷.

В чем причины удивительной исследовательской и политической убежденности Португейса (этой «строптивой природы, не способной на идейные компромиссы»¹⁰⁸) в конечности большевистской диктатуры? Эту убежденность, мне кажется, можно лучше понять, припомнив, что Португейс, судя по многим свидетельствам, был редким знатоком европейской политической истории, и прежде всего истории Французской революции. Во всяком случае (это моя личная версия), в его рассуждениях о перспективах развития большевистского режима можно уловить явные отголоски блестящего и, судя по всему, имеющего универсальное значение анализа соотношения «старого порядка» и «революции», проделанного А. де Токвилем на примере Франции. Именно опираясь на эту авторитетную позицию (нигде, впрочем, открыто не декларируемую), Португейс выстраивает цепь рассуждений, направленных против революционного нетерпения коллег по русской эмиграции.

Согласно Португейсу, «никогда не свергается сложившийся “новый режим”»: «Если он успел благополучно миновать “детские болезни” своего роста, если он устоял против первых конвульсивных контратак того общества и государства, которые он обезвластил и обесправил, тогда ему уже более или менее гарантирован относительно длинный период жизни». Следует признать, утверждает Португейс, что большевистский режим вполне устоял, и теперь все расчеты на его преодоление можно, увы, связывать только с его «постарением»: «Он обязательно должен постареть, чтобы сконцентрировать на себе ненависть народного большинства, чтобы разрушить все иллюзии, связанные с его рождением и молодыми годами... Режим должен остыть, сложиться, стать “пожилым”, потерять блеск великих событий,..

чтобы в отношениях к нему страдающих масс могла проявиться свобода оценки и в психике народа могли бы накопиться элементы объективной ориентации в своем собственном положении»¹⁰⁹.

С.Португейс призывает понять, что в основе пресловутого «обмещанивания» советского общества лежит определенный подъем материального уровня населения, и это не просто прозаическое благо («достойное, конечно, презрения превыспренных умов»), но и одна из необходимейших предпосылок для «пробуждения в замордованном советском человеке духа свободы»¹¹⁰. Поэтому, если анализировать массовые настроения «в их живой социально-психологической реальности», а не смотреть на них «сквозь задымленные нашей изощренной духовностью теоретические очки», то не подлежит никакому сомнению, что этот процесс «обмещанивания» является знаменательным показателем «перехода России в органическую эпоху». И эта историческая органика способна в гораздо большей степени развязать массовое движение против диктатуры, чем «лихорадка революции», которую все еще пытаются длить многие актеры революционного действия¹¹¹. Португейс уверен: «Аппетит не только к материальным, но и духовным и моральным благам будет у русского народа быстро возрастать в прогрессии, за которой реформаторской колеснице диктатуры все труднее и труднее угнаться. ...Перед нами не первый и не последний в истории народов случай, когда власть, в интересах самосохранения, вынуждена разжигать материальные, духовные и моральные аппетиты населения без возможности действительно их удовлетворить...». И как итог – излюбленный, еще со времен внимательных штудий работ Плеханова (а теперь усиленный и аргументацией Токвиля), тезис: «Россия до-эволюционирует до революции»¹¹².

О том, какова могла бы быть эта «революция», С.Португейс пишет достаточно осторожно. Из некоторых его работ можно сделать вывод, что он предпочел бы максимально бескровный исход: история, действующая в оболочке большевистского режима, постепенно «изгрызет до дыр свое временное политическое вместилище» и затем «сбросит остаток небольшим рывком, далеким от стиля “великой революции” и близким по стилю какому-нибудь перевороту или даже просто... замешательству»¹¹³.

Что же касается предположений о возможном характере будущей, «разбольшевиченной» России, то здесь Португейс никогда не был большим оптимистом. Он нисколько не сомневался, что и после падения большевиков путь России не будет усеян розами – ей, судя по всему, предстоит выбор «не между добром и злом, а между злом большим и меньшим»¹¹⁴. В самом деле, каким образом из диктатуры, «раз-

водящей вокруг себя мерзость и нечисть шпионства, доношительства, пролазничества и подхалимства, убивающей всякую свободную и независимую мысль, всякую твердость характера и человеческое достоинство», — каким образом из этого режима лжи и террора можно разом перепрыгнуть в обетованное царство подлинной демократии? Думать, что под завалами диктатуры сокрыто благостное общество, требующее только высвобождения «из-под глыб», — значит еще раз повторять трагическую ошибку, уже сделанную однажды русскими предреволюционными мечтателями¹¹⁵.

Всеобщая «плебеизация» общественной жизни при большевиках не могла не затронуть и те внутрироссийские силы, которые, надеясь Португейс, все-таки окажутся способными к борьбе с советским коммунизмом: «Поколение людей с такой духовной конструкцией и с такими общественно-политическими представлениями создаст противобольшевистскую Россию такого чекана, какой способен будет свергнуть в уныние людей прежней исторической эпохи со столь отличной общественной и индивидуальной психикой». Во всяком случае, для рафинированных кругов старой эмигрантской интеллигенции (и их наследников) будущая антибольшевистская революция в России покажется исполненной «тяжелого духа». «Мы будем свидетелями своеобразной культурно-общественной атмосферы, которую можно охарактеризовать внешне парадоксальным термином “консервативной демократии”, хорошо если не “реакционной демократии”, — писал Португейс в 1925 г. — На фоне низкой материальной и духовной культуры будет процветать своеобразный российский американизм. С точки зрения первоклассных образцов политической демократии Россия явит собою образ достаточно убогий и неказистый»¹¹⁶. Спустя несколько лет он оценивал перспективы антибольшевистского переворота в России с еще меньшим оптимизмом: «На таком базисе, при социально ничтожных городских средних классах..., при отсутствии демократического опыта хотя бы в прошлом, при аморфности всех общественных образований, при этой бескультурности и всеобщем дилетантизме американизированного пошехонства, Россия имеет все шансы вновь очутиться под пятой какой-нибудь новой диктатуры, может быть еще худшей, чем большевистская, если, впрочем, худшая еще возможна»¹¹⁷.

Однако при всех неизбежных разочарованиях, при всех возможных будущих искривлениях и даже откатах унывать все-таки не стоит, хотя подлинная дебольшевизация России потребует немало времени: «Только медленными молекулярными наслоениями, только на

протяжении большого исторического пути произойдет духовная и политическая европеизация России, только медленно и постепенно будет с нее спадать спесивая доморощенность»¹¹⁸.

В этой связи С.О.Португейс отчетливо понимал, что задача нового поколения российской демократии состоит не только в приближении скорейшего конца коммунистического режима (желанием этого ограничивалась подавляющая часть антибольшевистской эмиграции), а в подготовке условий, при которых «финал коммунизма» стал бы действительным прогрессом. В отличие от ностальгирующей по старым временам и ненавидящей большевизм эмигрантской массы он хорошо усвоил недавний урок краха царизма: падение ненавистного режима при определенных условиях может оказаться отнюдь не прогрессом, если не подготовлены культурные условия, способствующие позитивному преодолению «старого порядка». В этой связи Португейс вынужден был с тревогой констатировать, что среди эмигрантских противников большевизма людей, готовых его свергнуть, гораздо больше, чем готовых его в себе внутренне преодолеть. Оказавшаяся живучей и в эмиграции, психология бескомпромиссного уничтожения всякого инакомыслия, вся эта «масса не преодоленного внутренне большевизма во многих из тех, кто готов задушить большевика собственными руками», делает, по мнению Португейса, вполне реальной перспективу реакционно-бонапартистского, а то и откровенно фашистского финала коммуно-большевистского периода¹¹⁹.

Отсюда — установка работать не на любой «антибольшевизм», а, по возможности, на культурнический, просвещенный «постбольшевизм». И даже если в полной мере чистоту такой стратегии соблности невозможно, принципиальная задача остается: на тот случай, если антибольшевистская революция в России произойдет спонтанно, постараться принять все меры к тому, чтобы «обезопасить ее от возможных реакционных и реваншистских искажений». А это, в свою очередь, предполагает не пассивность, а активную политико-культурную борьбу против советской диктатуры и за будущую Россию даже тогда, когда революционной ситуации вроде бы совершенно нет налицо¹²⁰.

Об историческом смысле большевизма и уроках для социализма

В чем могла бы состоять эта «активная политико-культурная работа»? В первую очередь — в трезвом осознании смысла большевистской эпохи. Да, большевизм проник в историю в результате истори-

ческого «зигзага», но это вовсе не означает, что весь этот период — некая «черная дыра» и «потерянное время» для российской истории. Любую фазу истории, даже трагическую, по мнению Португейса, можно прожить и изжить по-разному. Объективно-исторический смысл большевистской эпохи мог бы состоять в том, чтобы «поверхностный прогресс социальной и культурной верхушки нации» (также была ситуация до революции) попытаться превратить в «глубинный прогресс всей народной толщи»¹²¹. Подобный тезис, не могущий не резать ухо аристократическо-снобистской части эмиграции, представляется вполне логичным для Португейса-демократа, который, как мы помним, и сам большевистский обвал считал результатом именно огромного разрыва между российской культурной элитой и остальной массой населения. И если, пусть под властью большевиков, имел место хотя и медленный и неровный, но процесс нарастания культуры широких слоев населения — это несомненное историческое благо, и исторически реакционны были бы как раз планы реставрации старых культурных разрывов.

Конечно, отмечает Португейс, «с точки зрения культурных рекордов за одного Пушкина можно отдать десять миллионов поднявшихся со дна своего прозябания Пил и Сысоек», а «сто миллионов людей, научившихся рисовать, не стоят одного Рафаэля...». Но исторические процессы не могут быть оцениваемы «с точки зрения рекордов»; развитие демократии есть развитие социальной и культурной самостоятельности крупных классовых и национально-государственных «массивов». И только тогда, когда такие «массивы» сформировались, возвышающиеся над ними «культурные максимумы и рекорды» приобретают устойчивость и историческую прочность, преодолеть которые уже не под силу самым жестоким политическим и социальным бурям. И если бы посткоммунистическая Россия избрала именно такую стратегию на преодоление большевизма, то в такой демократизации истории Португейс согласился бы увидеть «оправдание» советского периода «не только с точки зрения материи, но и с точки зрения духа»¹²².

Большевистский эксперимент для Португейса — это еще и повод задуматься о судьбах социализма и социалистического мировоззрения. Чудовищная практика большевизма показала, что «в теоретическом царстве социализма не все ладно». Конечно, советский большевизм — это «карикатура», «грандиозный поклеп», «гомерическое издевательство» над основными идеалами и принципами социализма. Но здесь, в большевизме, обнаружилось свойство всякой

карикатуры, если она талантливо исполнена. По такой карикатуре, полагает Португейс, иногда скорей узнаешь оригинал, чем по «зализанным», скрупулезно точным изображениям портретных дел мастеров. И при ближайшем рассмотрении становится понятным, что же именно так «безобразит и искажает лицо социализма» — это, по мнению Португейса, учение о «диктатуре пролетариата» и «социальной революции»¹²³.

К числу опасных теоретических заблуждений, порочность которых доказала практика большевизма, Португейс относит и идею об «обобществлении производства как наиглавнейшей задаче социализма»: «Коллективное хозяйство перестало быть фетишем. В условиях несвободы и даже недостаточной свободы оно не благо, а проклятие, потому что отнимает у человека и ту свободу, свободу хозяйствования, на которую даже наиболее консервативные и реакционные политические режимы капитализма меньше всего покушались. С отнятием и хозяйственной свободы рабство становится тотальным. В условиях деспотии коллективное хозяйство есть великое несчастье. Каковым оно будет в условиях демократии — для ответа на этот вопрос достаточных данных еще нет. Представление о том, что в нем самом заключаются жиздительные силы, творящие только общественное добро, оказалось ложным и, по меньшей мере, неподтвержденным»¹²⁴.

Ну и, наконец, еще одним уроком большевизма С.Португейс считал то, что это «историческое помрачение» приходит в историю не только как прямое насилие, но и как «соблазн». Еще в начале 1920-х гг. он предвидел, что и после краха большевизма его притягательность вряд ли полностью выветрится из массового сознания: «Побежденный как факт, большевизм, весьма возможно, будет гораздо более нынешнего соблазнять как идея и иллюзия. Если сейчас, вопреки ужасающему аромату чрезвычайок, провокаций, зверств, насилий, бездонной пошлости и мерзости его живого проявления, сильнейшим образом чувствуется его влияние на некоторые антибольшевистские социалистические течения, то легко понять, что после того как большевизм “преставится”, как перестанут “бить в нос” его реально-чрезвычайные и чрезвычайно-реальные проявления, идеологические его влияния могут стать весьма сильными...». И далее важная концовка, удивительно свежо звучащая в наши дни: «...в особенности если большевизм сойдет в царство теней в ореоле мученичества, а его победители не сумеют скоро создать в России сколько-нибудь сносные условия жизни» (курсив мой. — А.К.)¹²⁵.

Послесловие

Несмотря на бесспорный научный и литературно-публицистический авторитет, Семен Осипович Португейс в некотором смысле остался некоей неразгаданной загадкой русской эмиграции. Он легко менял псевдонимы, почти не участвовал в светской жизни, жил бедно и уединенно и, будучи творчески исключительно плодovit (вынужденная литературная поденщина немало способствовала этому), никого не подпускал к своей литературно-политологической «кухне». К нему с полным основанием можно отнести слова, которые он сам когда-то сформулировал в отношении своего покойного учителя и друга А.Н.Потресова. Самое тяжелое для думающего политика, заметил он, — это «трагедия политического одиночества», ибо «тяжко и невыносимо внутреннее несоответствие политики (“соборной” в своем существе) и личного одиночества...»¹²⁶.

Впрочем, по отношению к самому С.О.Португейсу «политическое одиночество» обернулось и другой стороной — помогло высвободиться из пут эмигрантской партийно-корпоративной «стайности» и сосредоточенным уединенным трудом реализовать большой талант ученого-исследователя.

Примечания

- 1 *Николаевский Б.* Памяти С.О.Португейса (Ст. Ивановича) // Новый журнал. Нью-Йорк, 1944. № 8. С. 394.
- 2 *Аронсон Г.* Степан Иванович (С.О.Португейс) 1880–1944 // Соц. вестн. Париж, 1944. № 5–6. С. 66.
- 3 *Николаевский Б.* Указ. соч. С. 394.
- 4 *Аронсон Г.* Указ. соч. С. 66.
- 5 *Талин В.И.* Пай–граждане // Последние новости. Париж, 1929. 21 мая. С. 5.
- 6 *Талин В.И.* По переписи (Из записок советского статистика) // Совр. зап. Париж, 1921. № 6. С. 197.
- 7 *Талин В.И.* По переписи (Из записок советского статистика) // Совр. зап. Париж, 1921. № 8. С. 308.
- 8 *Талин В.И.* По переписи (Из записок советского статистика) // Совр. зап. Париж, 1922. № 9. С. 294.
- 9 Там же. С. 294–295.
- 10 *Талин В.И.* Сумерки русской социал–демократии. Париж, 1921.
- 11 Последние новости. Париж, 1928. 2 февр.
- 12 Дни. Париж, 1928. 17 янв.
- 13 За свободу. Варшава, 1928. № 47.
- 14 Россия. Париж, 1928. 10 марта.
- 15 См.: *Аронсон Г.* Указ. соч. С. 67.
- 16 *Николаевский Б.* Указ. соч. С. 394.
- 17 *Иванович Ст.* Демократия и социализм // Совр. пробл. Париж, 1922. С. 77.
- 18 Там же. С. 74.
- 19 *Иванович Ст.* О диктатуре // Совр. зап. Париж, 1922. № 10. С. 238.
- 20 *Иванович Ст.* Об историческом массиве (Из размышлений о русской революции) // Совр. зап. Париж, 1927. № 32. С. 378.
- 21 *Талин В.И.* Сумерки русской социал–демократии. С. 13.
- 22 *Иванович Ст.* Пять лет большевизма. Берлин, 1922. С. 25–26.
- 23 Там же. С. 50–51.
- 24 Там же. С. 12–15.
- 25 Там же. С. 14–15.
- 26 *Талин В.И.* У гроба Великого Диктатора // Заря. Берлин, 1924. № 1. С. 9.
- 27 *Иванович Ст.* Пять лет большевизма. С. 16.
- 28 *Иванович Ст.* Из размышлений о революции // Совр. зап. Париж., 1936. № 58. С. 399.
- 29 *Иванович Ст.* Об историческом массиве. С. 356.
- 30 Там же.
- 31 Там же. С. 356–358.
- 32 *Иванович Ст.* Пять лет большевизма. С. 40–42.
- 33 Там же. С. 44–45.
- 34 *Талин В.И.* У гроба Великого Диктатора. С. 8.
- 35 *Иванович Ст.* Об историческом массиве. С. 357.
- 36 *Иванович Ст.* Из тупика в тупик // Заря. Берлин, 1922. № 3. С. 63.
- 37 *Иванович Ст.* Об историческом массиве. С. 363.
- 38 Там же. С. 364.
- 39 Там же. С. 365.

- 40 *Иванович Ст.* Об историческом массиве. С. 363–365.
- 41 Там же. С. 360.
- 42 Там же. С. 368.
- 43 Там же. С. 368–370.
- 44 Там же. С. 371.
- 45 Там же. С. 373–374.
- 46 *Талин В.И.* Наследники революции // Совр. зап. Париж, 1927. № 30. С. 479.
- 47 *Талин В.И.* Этапы комсомольских блужданий // Зап. социал–демократа. Париж, 1931. Май. С. 22.
- 48 *Талин В.И.* Наследники революции. С. 479.
- 49 Там же.
- 50 *Иванович Ст.* От прошлого к будущему (к 25–летию РСДРП) // Заря. Берлин, 1923. № 4. С. 110.
- 51 *Талин В.И.* Этапы комсомольских блужданий. С. 23.
- 52 Там же.
- 53 *Талин В.И.* Наследники революции. С. 480, 485.
- 54 *Талин В.И.* Этапы комсомольских блужданий. С. 25.
- 55 *Талин В.И.* Наследники революции. С. 509.
- 56 Там же. С. 488–489.
- 57 Там же. С. 495.
- 58 Там же. С. 508–509.
- 59 Там же. С. 509.
- 60 Там же. С. 502.
- 61 *Иванович Ст.* Российская коммунистическая партия. Берлин, 1924. С. 3.
- 62 *Талин В.И.* Побежденные и победители // Совр. зап. Париж, 1928. № 34. С. 415.
- 63 *Иванович Ст.* Российская коммунистическая партия. С. 8–9.
- 64 *Талин В.И.* Побежденные и победители. С. 405–407.
- 65 *Талин В.И.* Чистка // Последние новости. Париж, 1929. 5 марта. С. 4.
- 66 Там же.
- 67 Там же.
- 68 *Талин В.И.* Кутерьма и революция // Последние новости. Париж, 1929. 4 апр. С. 2.
- 69 *Иванович Ст.* Юбилейные заметки о ВКП(б) // Зап. социал–демократа. Париж, 1932. № 17. С. 6.
- 70 Там же.
- 71 Там же.
- 72 Там же.
- 73 *Иванович Ст.* Великая чистка // Зап. социал–демократа. Париж, 1933. № 18. С. 17.
- 74 *Иванович Ст.* Юбилейные заметки о ВКП(б). С. 6.
- 75 Там же. С. 6–7.
- 76 *Иванович Ст.* Пять лет большевизма. С. 46–47.
- 77 Там же. С. 47–48.
- 78 Там же. С. 61.
- 79 *Талин В.И.* Диктатура профсоюзная // Совр. зап. Париж, 1926. № 27. С. 464–492.
- 80 Там же. С. 466.
- 81 Там же. С. 468.
- 82 Там же.
- 83 Там же.
- 84 Там же. С. 469.

- 85 *Талин В.И.* Диктатура профсоюзная // Совр. зап. Париж, 1926. № 27. С. 469.
- 86 Там же. С. 490.
- 87 Там же. С. 490–491.
- 88 Там же. С. 482.
- 89 Там же. С. 482–486.
- 90 Там же. С. 489.
- 91 Там же. С. 492.
- 92 *Талин В.И.* Наследники революции. С. 492.
- 93 Там же. С. 502.
- 94 Там же. С. 510.
- 95 *Талин В.И.* Кутерьма и революция. С. 2.
- 96 *Иванович Ст.* Пять лет большевизма. С. 64–65, 84.
- 97 *Иванович Ст.* Актеры и зрители // Зап. социал–демократа. Париж, 1931. март. № 2. С. 17–18.
- 98 *Иванович Ст.* Великая чистка. С. 13.
- 99 *Иванович Ст.* Актеры и зрители. С. 16.
- 100 *Талин В.И.* Кутерьма и революция. С. 2.
- 101 *Талин В.И.* Наследники революции. С. 509.
- 102 Там же.
- 103 *Талин В.И.* Кутерьма и революция. С. 2.
- 104 *Иванович Ст.* Пути русской свободы // Совр. зап. Париж, 1936. № 60. С. 390.
- 105 *Иванович Ст.* Ташкентцы за работой // Совр. зап. Париж, 1926. № 28. С. 399.
- 106 *Иванович Ст.* Пути русской свободы. С. 392.
- 107 Там же. С. 393–394.
- 108 *Аронсон С.* Указ. соч. С. 66.
- 109 *Иванович Ст.* Пути русской свободы. С. 391–392.
- 110 Там же. С. 395.
- 111 Там же. С. 392.
- 112 Там же. С. 403.
- 113 *Иванович Ст.* Об историческом массиве. С. 378.
- 114 *Иванович Ст.* О революции // Заря. Берлин, 1922. № 4. С. 105.
- 115 *Иванович Ст.* Пятилетка, социализм и Отто Бауэр // Зап. социал–демократа. Париж, 1931. № 3. С. 15.
- 116 *Талин В.И.* Наследники революции. С. 512–513.
- 117 *Иванович Ст.* Государственный капитализм и русская демократия // Зап. социал–демократа. 1932. № 14. С. 15.
- 118 *Талин В.И.* Наследники революции. С. 513.
- 119 *Иванович Ст.* Пути русской свободы. С. 398.
- 120 *Иванович Ст.* Добрые советы хороших друзей // Зап. социал–демократа. Париж, 1932. № 10. С. 13.
- 121 *Иванович Ст.* Об историческом массиве. С. 378.
- 122 Там же. С. 379.
- 123 *Иванович Ст.* О диктатуре. С. 236–237.
- 124 *Иванович Ст.* Кризис социалистического сознания // Новый журнал. Нью–Йорк, 1942. № 1. С. 312.
- 125 *Талин В.И.* Сумерки русской социал–демократии. С. 113.
- 126 *Иванович Ст.* А.Н.Потресов. Опыт культурно–психологического портрета. Париж, 1938. С. 468.

Содержание

Предисловие	3
-------------------	---

ЭССЕ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН: «Процесс обновления неразрывно идет с процессом гниения, и который возьмет верх – неизвестно...»	5
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ХОМЯКОВ: «Так бы и не уезжал из деревни, если бы не эта политика...»	18
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ МИЛЮКОВ: «Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой...»	27
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КОРНИЛОВ: «Вести работу не разрушительным натиском, а положительным строительством...»	48
ИВАН ПАВЛОВИЧ АЛЕКСИНСКИЙ: «Мы должны устранить этих безумных, слепых людей, цепляющихся за власть...»	58
ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ФЕДОТОВ: «Духовное спасение России заключается в возрождении потребности в свободе»	89
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕЙДЛЕ: «Чем дальше отходила Россия от Европы, тем меньше становилась похожей на себя...»	107

ДОКЛАДЫ

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЧИЧЕРИН и ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ: Два понимания русской свободы	120
ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ СТРУВЕ и МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ОСОРГИН: Два лика российского либерализма	126

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

СЕМЕН ОСИПОВИЧ ПОРТУГЕЙС: «Только медленными молекулярными наслоениями произойдет духовная и политическая европеизация России...»	133
---	-----

Научное издание

Кара-Мурза Алексей Алексеевич

Интеллектуальны портреты

Очерки о русских политических мыслителях XIX–XX вв.

*Утверждено к печати Ученым советом
Института философии РАН*

В авторской редакции

Художник *В.К. Кузнецов*

Технический редактор *А.В. Сафонова*

Корректор *Т.М. Романова*

Лицензия ЛР № 020831 от 12.10.98 г.

Подписано в печать с оригинал-макета 24.08.06.

Формат 60х84 1/16. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 11,31. Уч.-изд. л. 10,38. Тираж 500 экз. Заказ № 022.

Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН

Компьютерный набор *Е.Н. Платковская*

Компьютерная верстка *Ю.А. Аношина*

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН

119992, Москва, Волхонка, 14

Издания 2005 года

- 1. Аристотель. Евдемова этика /РАН. Ин-т философии; Изд. подгот. М.А.Солопова. — М., 2005. — 448 с.**

Настоящее издание впервые представляет перевод «Евдемовой этики» на русский язык, греческий текст и комментарии. Текст этики публикуется вместе с тремя обычно опускаемыми в издательской практике т.н. «средними книгами», общими для «Евдемовой» и «Никомаховой» этик.
- 2. Бескова И.А. Природа сновидений: (эпистемологический анализ) /РАН. Ин-т философии. — М., 2005. — 239 с.**

В книге прослеживаются особенности отношения к сновидениям, сложившиеся в разные исторические эпохи в разных сообществах, включая традиционные примитивные культуры.
- 3. Диалог цивилизаций. Повестка дня /РАН. Ин-т философии; Горбачев-Фонд; Сост. и общ. ред. В.И.Толстых. — М., 2005. — 145 с.**

Предлагаемая читателю книга «Диалог цивилизаций. Повестка дня» подводит итоги совместного исследования Института философии РАН и Горбачев-Фонда и является своего рода российским откликом на тему и проблему общемирового уровня и значения.
- 4. Кацапова И.А. Философия права П.И. Новгородцева /РАН. Ин-т философии. — М., 2005. — 188 с. — ISBN 5-9540-0028-X.**

Монография посвящена творчеству одного из видных русских теоретиков права к. XIX — н. XX вв. Павлу Ивановичу Новгородцеву.
- 5. Коллаж—5 /РАН. Ин-т философии; Отв. ред. А.Сыроеева. — М., 2005. — 145 с.**

Пятый выпуск серии «Коллаж» посвящен феномену *другого*, снова и снова напоминающему о себе на повседневном уровне в виде вопросов и проблем политического, исторического и культурного, межличностного характера.
- 6. Лейбниц Г.В. Письма и эссе о китайской философии и двоичной системе исчисления /РАН. Ин-т философии; Отв. ред. А.П. Огурцов; Изд. подгот. В.М. Яковлев. — М., 2005. — 404 с.**

Инициатором обращения к древней китайской мысли в ново-европейской философии был Лейбниц. Об этом свидетельствует публикуемая переписка Лейбница с христианскими миссионерами в Китае.
- 7. Меркулов И.П. Когнитивные способности /РАН. Ин-т философии. — М., 2005. — 182 с.**

В книге с позиций эволюционно-информационной эпистемологии исследуются общие характеристики человеческого познания и когнитивные способности — восприятие, мышление, сознание и память.
- 8. Методология науки: статус и программы /РАН. Ин-т философии; Отв. ред.: А.П.Огурцов, В.М.Розин. — М., 2005. — 295 с.**

Сборник — результат работы семинара Центра методологии и этики науки в 2002–2004 гг. В нем продолжается изучение различных программ и проблем философии науки, которое начато в сборнике «Методология науки: проблемы и история» (М., ИФ РАН, 2003). В приложении, завершающем сборник, печатаются перевод фрагментов из трактата Иоанна

Солсберийского «Металогик». Сборник представляет интерес для историков науки, философов, для всех интересующихся методологическими проблемами научного знания.

9. **Мочкин А.Н. Фридрих Ницше: (интеллектуальная биография) /РАН. Ин-т философии. — М., 2005. — 246 с.**

Монография является опытом комплексного анализа философии Ф.Ницше. Философия немецкого мыслителя рассматривается как «авансцена», за которой скрыты сложные мотивы, сочетающие в себе личностные и патогرافические характеристики.

10. **Наука и искусство /РАН. Ин-т философии; Общ. ред. А.Н.Павленко. — М., 2005. — 206 с.**

Предлагаемый вниманию читателя сборник включает работы, посвященные анализу взаимоотношения науки и искусства в творчестве Николая Орема, Князя Вл.Ф.Одоевского, Велимира Хлебникова, Вернера Гейзенберга, В.С.Библера и Ж.Делеза.

11. **Противоречие и дискурс /РАН. Ин-т философии; Отв. ред. И.А. Герасимова. — М., 2005. — 184 с.**

Проблема противоречия представлена во множестве аспектов: методологическом, когнитивном, лингвистическом.

12. **Россия в начале XXI века: новый курс /РАН. Ин-т философии; Отв. ред. В.С. Семенов. — М., 2005. — 197 с.**

В книге анализируются и обобщаются социальные сдвиги в России в начале XXI века, исследуется сложная, противоречивая диалектика ее объективного и субъективного общественного развития в 2000–2004 годы.

13. **Серёгин А.В. Гипотеза множественности миров в трактате Оригена «О началах» /РАН. Ин-т философии. — М., 2005. — 254 с.**

Ориген Александрийский (185–254 гг. н.э.) — один из наиболее значительных и спорных мыслителей в истории раннехристианской церкви. Принадлежащий его перу трактат «О началах», дошедший до нас преимущественно в латинском переводе 4 в., содержит в себе ряд метафизических и космологических гипотез неортодоксального характера. В данном исследовании подробно рассматривается одна из этих гипотез, предполагающая существование множества миров до и после нынешнего мира.

14. **Смирнов А.В. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры: Семиотика и изобразительное искусство /РАН. Ин-т философии. — М., 2005. — 254 с.**

Знание логико-смысловых грамматик культур позволяет моделировать построение смыслового поля того или иного их сегмента, а выявление различий между ними дает возможность правильно понять контраст создаваемых в них смысловых полей. Эксплицируя элементы логико-смысловых грамматик арабо-мусульманской и западной культур, автор уделяет основное внимание понятию индивидуальной вещи, показывая, какие логические и содержательные следствия влечет различие процедур формирования этого понятия в двух культурах.

- 15. Судьба государства в эпоху глобализации /РАН. Ин-т философии; Отв. ред.: В.Н. Шевченко. — М., 2005. — 200 с.**

В монографии обсуждается одна из самых дискуссионных проблем в отечественной науке, которая связана с поиском Россией наиболее жизнеспособного государственного устройства в условиях растущих вызовов и угроз, рождаемых глобализацией.

- 16. Султанова М.А. Философия культуры Теодора Розака /РАН. Ин-т философии. — М., 2005. — 196 с. — ISBN 5-9540-0031-X.**

В очерке предпринят анализ работ теоретика контркультуры Т.Розака, его философско-интуитивистские, антитех-ницистские и антитехнократические идеи, идеи «экологического персонализма», как и религиозно-мистические мотивы, присущие контркультуре.

- 17. Сухов А.Д. Материалистическая традиция в русской философии /РАН. Ин-т философии. — М., 2005. — 260 с.**

В книге показано, что материализм, как особое направление в русской философии, имеет собственную историю.

- 18. Федорова М.М. Метаморфозы принципов Просвещения в политической философии Франции эпохи буржуазных революций /РАН. Ин-т философии. — М., 2005. — 190 с.**

В монографии анализируются три главные просвещенческие идеи, представляющие особое значение для развития политической философии: Индивид, Разум, Прогресс — и их трансформации в политической мысли Франции XIX в.

- 19. Форум молодых кантоведов (По материалам Междунар. конгр., посвящ. 280-летию со дня рождения и 200-летию со дня смерти И.Канта) /РАН. Ин-т философии; Отв. ред.: Т.Б. Длугач, В.А. Жучков. — М., 2005. — 208 с.**

В книгу вошли тексты докладов и сообщений молодых ученых из различных вузов Москвы и других городов России, которые были сделаны на Международном юбилейном Кантовском конгрессе в Москве, в Институте философии РАН (24–28 мая 2004 г.).

- 20. Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда /РАН. Ин-т философии; Отв. ред.: В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская. — М., 2005. — 238 с.**

Книга посвящена актуальным и дискуссионным проблемам современной эстетики, среди которых особое внимание уделено вопросам современной эстетической теории и методологии, новому пониманию предмета эстетики, хронотипологии искусства XX в. и неклассической эстетики, русской теургической эстетике, представленной философией творчества Н. Бердяева, психологической эстетики, особенностям художественных языков новейших арт-практик и видов искусства.

- 21. Этическая мысль. Вып. 6 /РАН. Ин-т философии; Отв. ред. А.А. Гусейнов. — М., 2005. — 263 с.**

Выпуск содержит специальные разделы, посвященные анализу разных аспектов проблемы соотношения морали и политики; вопросам истории ценностей, рассмотрению современных этических теорий.